

18+

Василий Попков

ЧУДЬ БЕЛОГЛАЗАЯ

Тайна рода Демидовых

Василий Попков

**Чудь белоглазая.
Тайна рода Демидовых**

«Издательские решения»

Попков В.

Чудь белоглазая. Тайна рода Демидовых / В. Попков —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-692683-7

XVIII век. Урал. По воле Петра I промышленник Никита Демидов получает земли, богатые рудой. Но первые же шахты вскрывают не только серебряные жилы, но и древнюю тайну. Местные шепчут о «чуди белоглазой» — старшем народе, ушедшем под землю, и о духе-хранительнице гор, Тоуме. Прагматичный Демидов видит в легендах суеверия, но его сын, одержимый Акинфий, обнаруживает: за мифами скрывается реальная сила. Сила, с которой можно заключить сделку.

ISBN 978-5-00-692683-7

© Попков В.
© Издательские решения

Содержание

Чудь белоглазая	6
Пролог. Песнь, которую заглушили молотами	6
Глава 1. Невьянское жало (1702 г.)	9
Глава 2. След Белоглазой (1703 г.)	15
Глава 3. Цена серебра (1704 г.)	23
Глава 4. Подменьш (1705 г.)	29
Глава 5. Прибытие Акинфия (1706 г.)	35
Глава 6. Говорящая гора (1707 г.)	41
Глава 7. Шаман (1708 г.)	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Чудь белоглазая Тайна рода Демидовых

Василий Попков

© Василий Попков, 2026

ISBN 978-5-0069-2683-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Чудь белоглазая

Пролог. Песнь, которую заглушили молотами

Они пели.

Их песнь была сложена не из слов. Она была соткана из звона кирки о жильный камень, из шепота воды в подземных ручьях, из тихого гула, что исходил от самых стен штольни, прогретых теплом глубоких недр. Они пели, потому что не могли молчать. Потому что руда в этой горе была не мертвой породой. Она была живой. Она спала, и ее сны были тяжелыми и ясными, как самородное серебро. А они, маленькие, сильные, с глазами цвета тумана, умели эти сны слышать.

Они не добывали. Они просили.

Каждый удар их невысоких, кривых молотков был вопросом, лаской, уговором. Они знали язык железа, понимали норы меди, чувствовали стыдливую дрожь серебра, прячущегося в черной породе. Они не рубили пласты – они осторожно отделяли их, как врачеватель отделяет больную плоть от здоровой. Их копи, уходящие вглубь гор на сотни саженей, не были язвами на теле земли. Они были ее пульсом, ее дыхательными путями. Горный хрусталь в их руках светился изнутри ровным, холодным светом, освещая им путь в вечную ночь. Они не боялись темноты. Они были ее частью.

Их звали Чудь. Стары люди. Те, кто были Первыми.

Они помнили, как мир был молод, и горы были мягкими, а реки текли расплавленным золотом. Они видели, как приходили другие – шумные, высокие, с глазами, полными алчности и страха. Сначала те прошли мимо, не заметив спящего богатства под ногами. Потом вернулись.

Пришел человек с лицом, высеченным из гранита одержимости, с волей, крепче любой стали. Он принес с собой не кирки, а ломы. Не вопросы, а приказы. Не ласковый звон – а грохот, от которого содрогалась земля до самых своих глубин.

Он пришел к их горе. К их дому. К их спящей серебряной жиле.

Они вышли ему навстречу. Не для войны. Для разговора. Их старейшина, кожа которого отливала бледным светом камня, поднял руку, и в ней засветился самоцвет, в глубине которого танцевали звезды.

«Уходи, – сказал старец беззвучно, но человек услышал это прямо в своей голове. – Ты не умеешь слушать. Твои руки знают только как брать. Ты разбудишь не руду. Ты разбудишь Гнев».

Человек с гранитным лицом, Никита Демидов, лишь усмехнулся. Он не увидел в старце ни мудреца, ни хранителя. Он увидел диковинного карлика, держащего в руках несметную

ценность. Он увидел ключ. К богатству. К силе. К милости своего шумного, жестокого царя, который жаждал пушек для своей бесконечной войны.

– Гора царская, – произнес он вслух, и его слова, грубые и плоские, разбили тишину, как камень – стекло. – А что в ней – то мое. Уходите сами. Или вас выкурят.

Они смотрели на него своими большими, молочными глазами. И в этих глазах не было ненависти. Была печаль. Такая бездонная, что ее хватило бы, чтобы оплакать все будущие поколения, что будут рождаться и умирать под тяжелым уральским небом, в дыму его заводов. Они поняли. Разговора не будет.

Они ушли. Но не так, как уходят побежденные.

Они собрались в самом сердце горы, у Озера Тишины, чья вода была чище воздуха и холоднее звезд. Они взяли свои светящиеся камни, свои кристаллы-хранители, свитки знаний, выбитые не на пергаменте, а в памяти самого камня. И они начали петь. В последний раз.

Песнь была о прощании. О долгом сне. Об охране.

Они пели стенам, и те смыкались за ними. Они пели руде, и та тускнела, прятала свой блеск, замирала в терпеливом ожидании. Они пели земле, чтобы та запомнила их шаги, их прикосновения, их уважение.

А потом, по слову старейшины, они подрубили резные, изящные стойки, что держали свод главной пещеры. Не для того, чтобы погибнуть. Для того, чтобы исчезнуть.

Грохот обвала был оглушительным. Для людей на поверхности это прозвучало как триумф – гора покорила! Для Чуди – это был последний аккорд их песни. Глухой, окончательный.

Они ушли в те слои земли, куда не достанут никакие ломы. Они погрузились в сон, обняв свои сокровища – не сундуки с золотом, а живые сердца металлов, семена света, выросшие в темноте.

Но, засыпая, старейшина прошептал в камень, который навсегда остался у входа в запечатанную пещеру:

– Ты возьмешь наше богатство, человек железа. Ты построишь свою империю на наших костях. Ты наполнишь мир грохотом, который для нас есть крик боли. Но знай: ты берешь в долг. И расплачиваться будешь не ты. Твои дети. Дети твоих детей. Они будут платить светом своих глаз, покоем своих душ, памятью своих предков. Твое богатство будет пожирать их изнутри, как ржа пожирает железо. И когда последний из твоего рода услышит в тишине нашу забытую песнь – она будет звучать для него похоронным звоном.

Гора замолчала. Наступила тишина. Не та, живая, полная смысла, что была раньше. А мертвая, гнетущая, зловещая. Тишина могилы, которую приняли за пустоту.

А наверху, на свежем обвальнике, уже стоял Никита Демидов. Он поднял кусок породы. В нем поблескивали вкрапления серебра. Он зажал его в кулаке так сильно, что острые края

впились в ладонь, и выступила кровь. Он не чувствовал боли. Он чувствовал только всепоглощающую радость победы.

Он не слышал проклятия. Он не слышал последнего вздоха земли. Он слышал звон будущих монет, гул будущих домен, и одобрительный голос далекого царя.

Он взял свое. Он даже не подозревал, какую страшную цену принесут за него другие. И как далеко в будущее протянется ледяная тень тех, кого он назвал просто – Чудь белоглазая.

Их песня кончилась. Но ее эхо осталось. Оно ждало в глубине породы, в ропоте подземных вод, в странном свечении некоторых руд. Ждало того, кто однажды перестанет слышать грохот молотов и услышит тишину. И в этой тишине – последний, прощальный напев Древних Хранителей, превратившийся в обещание расплаты.

Начало было положено. Начало конца.

Глава 1. Невьянское жало (1702 г.)

Ветер, рожденный где-то за Каменным Поясом, неся по глади пруда, вздымая серую, холодную рябь, и бился в частокोल бревенчатой крепостицы, в стены амбаров и сараев, в высокий сруб домны, что чернела, как гнилой зуб, вклиненный в сырое небо. Воздух пах промозглой водой, дымом и холодным железом. И еще – тоской. Бескрайней, как сам этот лес, тянувшийся за рекою Нейвой сплошной сизо-зеленой стеной, готовой поглотить все, что осмелилось вклиниться в ее древнее безмолвие.

Никита Демидов, он же – Антуфьев, стоял на скрипучем мостке у плотины и медленно, с ощутимым физическим усилием разгибал спину. Две недели в дороге от Тулы. Колея, грязь, болота, кривые сосны, словно пытающиеся сомкнуться над головами путников. И вот – оно. Царский дар. Невьянский железоделательный завод.

«Завод» – громко сказано. Небольшая, полузатоженная плотина. Одна домна, да и та не действует – верхняя часть кладки обвалилась, будто гигантская рука отломилась верхушку. Кузница с развалившимися мехами. Три дымных избы для мастеровых, да крепостица для стрельцов, больше похожая на острог. И тишина. Не мирная, а угрюмая, выжидающая.

– И это все? – голос Никиты прозвучал тихо, но так, что стоявший рядом подьячий из Тобольска вздрогнул.

– Все, Никита Демидыч, – забормотал подьячий, листая бумаги с царскими печатями, будто ища оправдания. – Как есть. Запущен, конечно, после казни прежнего арендатора... Бегство мастеровых... Но место-то! Место благодатное! Руды, лесу, воды – на тысячу лет! Царь-батюшка Петр Алексеевич, чай, прозорлив...

Никита перебил его, не повышая голоса:

– Царь прозорлив. Он и видит, что тульскому мастеру Невьянский завод на смех не отдаст. Значит, ждет. Ждет железа. Пушек. Ядер. Скоро. А это... – он махнул рукой в сторону мертвой домны, – это гроб, а не завод. И хоронить в нем пока некого, кроме нас с тобой.

Он повернулся и пошел по грязной тропе к крепостице, тяжелые сапоги хлюпали по слякоти. Он был невысок, широк в плечах, движения точны и экономны, как у мастера, привыкшего чувствовать вес молота и сопротивление металла. Лицо – крупные, резкие черты, борода с проседью, темные глаза, в которых затаился упрямый, холодный огонь расчетливости. Он нес на себе всю тяжесть царского доверия, а точнее – царского приказа. «Быть железному делу на Урале. И быть ему в руках у Демидова». За честь платили разоренным хозяйством, долгами и вот этой гнилой заводью в краю, где даже вороны каркали как-то непривычно.

В воеводской избе, пропахшей кислой капустой, дегтем и мышами, его ждали. Сидевший за грубым столом воевода Невьянской слободки, стражник Игнат Сысоев, был широколиц, рыжебород и налит тем особым, оседлым самомнением, что свойственно мелким царским чиновникам на окраинах. Рядом, в тени, стоял худой, длинноволосый мужик в темном, поношенном зипуне. Его лицо было скрыто, но Никита почувствовал на себе его пристальный, недобрый взгляд.

– Ну, встречаем нового хозяина, – произнес воевода, не вставая. Голос был густой, с приторной сердечностью. – Никита Демидыч, слышали, слышали. Тула, оружейная слобода. Сам царь в гости хаживал. Честь нам великая.

Никита кивнул, снял мокрый армяк, бросил его на лавку.

– Честь честью, а дело делом, Игнат... Игнатьевич. Завод мертв. Мастеровых нет. Руды, говорят, много. Покажи мне все. Сейчас.

Воевода усмехнулся, обнажив редкие зубы.

– Не извольте спешить. Край наш не тульский. Здесь по-иному. Не все видимо, не всякое место под ногой твердо. Отдохнуть надо с дороги. А там...

– Я не за отдыхом приехал, – отрезал Никита. – Веди.

В его тоне было что-то, что заставило воеводу нехотя подняться. Длинноволосый мужик в тени шевельнулся.

– Это еще кто? – ткнул пальцем в его сторону Никита.

– Местный... проводник, – неохотно сказал воевода. – Степан. Рудознавец. Потаенные места знает. Но... странный он. Из раскольников, беглых. Словно не в себе порою.

Никита окинул Степана оценивающим взглядом. Тот вышел на свет. Лицо – изрезанное морщинами, суровое, с высоким лбом и глубоко посаженными глазами цвета старого железа. Взгляд был остекленевший, отрешенный, будто человек слушал что-то очень далекое.

– Веди, Степан, – коротко сказал Демидов. – Покажи, где руда лежит.

Они шли вдоль реки, потом углубились в лес. Лес был другой. Не светлый, березовый, а хвойный, темный. Стволы сосен, обомшелые, толстые, стояли как частокол. Под ногами хрустел вековой ковер хвои и шишек, поглощая звук шагов. Воздух, несмотря на конец лета, был холодным и густым, им было трудно дышать. Никита, привыкший к лесам под Тулой, чувствовал себя здесь чужим, пришлым, за которым следит тысяча невидимых глаз.

Воевода отстал, отговариваясь делами. Шли они втроем: Никита, его верный тульский молотобоец Григорий, здоровенный детина с простым, открытым лицом, и Степан, который двигался бесшумно, как тень, не оглядываясь.

– Далеко? – спросил Григорий, похлопывая по рукояти топора за поясом.

Степан не ответил. Прошло еще с полверсты, прежде чем он остановился у небольшого, почти круглого провала в земле, прикрытого буреломом. Яма была метра три в диаметре, края оплывшие, заросшие мхом. Но форма была слишком правильной, чтобы быть природной.

– Это что? – спросил Никита, подходя к краю.

– Старая копь, – глухо произнес Степан. Его голос был хриплым, неиспользуемым. – Чудская.

– Чья? – переспросил Григорий.

– Чудь копала. Стары люди. Те, что были до нас, до татар, до вогулов даже.

Никита присел на корточки, отломил сук и сбросил его в яму. Прошло несколько секунд, прежде чем донесся глухой удар о дно.

– Глубоко. И давно. Значит, руда тут есть. И они ее брали. – В голосе Демидова зазвучали нотки делового интереса. Он спустился по осыпающемуся склону, несмотря на предостерегающий жест Степана. На дне ямы, среди бурых камней и глины, он нашел несколько обломков породы с рыжими, ржавыми прожилками. Железняк. Богатый. Он сжал камень в ладони, и его пальцы почувствовали не только холод камня, но и что-то еще... едва уловимое, как слабый ток. Он поморщился, отбросил камень.

– Много таких ям?

Степан, стоя наверху, смотрел куда-то вверх деревьев.

– Много. По всему Камню. Как оспины. Они... везде рылись.

– Кто такие, эти «чудь»? – спросил Григорий, крестясь. – Бесы, что ли?

Степан медленно повернул к нему свое каменное лицо.

– Не бесы. Люди. Да не наши. Маленькие, сильные. В земле жили, в горах. Металл чужали, как зверь дичь. И ковали такое... чего нам не сковывать. Потом ушли.

– Куда ушли? – настаивал Григорий.

– Под землю. Или в иные места. Сказания разны. Одни глаголют – испугались креста да царя белого. Другие – что обиделись на шум наш, на дым, на стук. И ушли, сокровища свои схоронив.

– Сокровища? – Никита вылез из ямы, отряхиваясь. В его глазах вспыхнул огонь. – Какие сокровища?

Степан взглянул на него, и в его отрешенных глазах мелькнуло что-то вроде презрения или жалости.

– Не те сокровища, купец. Не золото, не камня. Иное. Знание. Силу земли обузданную. А ты ищешь железо. – Он махнул рукой. – Его тут. На сто заводов. Бери. Только знай меру.

– Меру знает тот, у кого мало, – отрезал Никита. – Покажи другие места.

Они пошли дальше. Степан показывал ямы, иногда просто вмятины в земле, иногда – настоящие шахты с обвалившимися штольнями. Везде следы древней работы. И везде – та же

странная, гнетущая тишина. Птицы не пели. Белок не было видно. Даже комары, казалось, боялись подлетать к этим местам.

– А почему «чудь белоглазая»? – вдруг спросил Григорий, пытаясь разрядить молчание.

Степан остановился, обернулся. Его лицо исказила гримаса, похожая на боль.

– Глаза у них, сказывают, были как молоко. Без зрачка. Видели они не днем, не ночью, а сквозь камень. Сквозь землю. Видели жилу, что бьется в недрах, как жила в теле. И шли к ней. Прямоком. – Он помолчал. – А кто их видел... у того, сказывают, и сам взгляд мутнел. Белоглазая немочь. Слепота.

Григорий снова перекрестился. Никита слушал, стиснув зубы. Суеверия. Деревенские байки. Но в этой глуши, под этим давящим небом, они обретали зловещую убедительность.

На обратном пути они вышли на берег небольшой, быстрой речушки. И тут Никита увидел людей. Не своих, не русских. Несколько низкорослых, коренастых мужчин в одеждах из оленьих шкур и грубого сукна стояли у воды, рассматривая что-то в руках у одного из них – похоже, наконечник стрелы. Увидев чужаков, они замерли. Их лица были широкие, скуластые, глаза узкие. В них не было страха, но была настороженность, граничащая с враждебностью.

– Вогулы, – тихо сказал Степан. – Или манси, как они сами зовутся. Хозяева этих мест. До нас.

Один из мужчин, постарше, с лицом, испещренным морщинами и какими-то синими знаками-татуировками, шагнул вперед. Он что-то сказал на своем языке, резко, отрывисто. Голос звучал как скрежет камня.

– Что он говорит? – спросил Никита.

– Спрашивает, зачем пришли, – перевел Степан после паузы. – Говорит, это их земля. Места тут... рогатые. Шуметь нельзя. Зверя спугиваем, духов тревожим.

– Скажи ему, что земля теперь царская, – холодно произнес Демидов. – И завод тут будет. Большой. Шуметь будем. И копать. Пусть охотятся в других местах.

Степан перевел. Лицо старого манси не изменилось, только глаза сузились еще больше. Он выпрямился и, не сводя взгляда с Никиты, произнес еще несколько фраз.

– Говорит, – перевел Степан, и в его голосе прокралась тревога, – что «стары люди» уже здесь. Под ногами. Они спят. Но наш стук, наш огонь, наш дым – разбудят их. А разбуженные... они голодны. И будут брать плату. Не железом. Людьми.

– Скажи, что мы людей не отдадим, – Никита не отводил взгляда. – А железо возьмем. Столько, сколько нужно царю.

Перевод последовал. Старый манси покачал головой, словно глядя на безнадёжного ребенка. Он повернулся, бросил на землю перед собой какой-то маленький сверток, завязанный в бересту, и, не оглядываясь, скрылся в лесу за своими соплеменниками.

Никита подошел, поднял сверток. Развернул. Внутри лежал высушенный гриб-трутовик странной формы, напоминающий ухо, и три черных, отполированных камня.

– Что это?

– Предупреждение и... подношение, – сказал Степан. – Духам места. Чтобы не серчали сильно. Он думает, ты все равно погибнешь. Но пытается смягчить гнев на своих.

– Суеверия, – брезгливо бросил Никита сверток в кусты. – Весь этот край пропитан ими. От этого он и дик. Мы принесем сюда порядок. Закон. И железо.

Но, возвращаясь к заводу, он не мог отделаться от ощущения, что три черных камня смотрят ему в спину.

Вечером в воеводской избе собрались. Кроме Никиты, Григория и угрюмого Степана, сидевшего в углу, были вызваны двое уцелевших местных мастеровых – пожилой доменщик Федот и молотобой Панкрат, беглый, судя по клейму на щеке. Они робели, потупив взгляды.

– Завод нужно поднимать, – начал Никита, расстелив на столе привезенные с собой чертежи. – Домну – переключивать. Плотину – чинить, усиливать. Кузницу – ставить новую. Нужен кирпич, известь, уголь. Руду будем брать там, где показывал Степан. В первую очередь – из старых чудских копей.

При слове «чудских» Федот и Панкрат переглянулись.

– Что? – резко спросил Никита.

– Опасно, барин, – забормотал Федот, теребя шапку. – Места те... нечисты. Прежние хозяева те копи тронуть боялись. Руды там, может, и много, да...

– Да что? – взорвался Григорий. – Бесы там водятся?

– Не бесы, – вступил Степан из угла. Его голос прозвучал глухо, но все замолчали. – Память. Земля помнит. Кто копал, кто брал. И как брал. Чудь брала с умом, с разговором. Мы же будем рвать, как волки падаль. Земля ответит.

– Земля ответит рудой! – стукнул кулаком по столу Никита. – И больше ничем! Я не за тем сюда приехал, чтобы слушать сказки про подземных карликов! Федот! Завтра берешь людей, идешь к ближайшей яме, начинаешь рыть разрез. Панкрат – ты отвечаешь за ремонт мехов. Григорий – сгоняй в ближайшую деревню, найми мужиков на земляные работы. Хлебом и солью платить буду, а кто откажется – воевода поможет.

Воевода Сысоев, попивавший кислую брагу, мрачно кивнул.

– А ты, Степан, – Демидов повернулся к рудознатцу, – будешь моими глазами. Покажешь все лучшие места. Все эти твои «рогатые» урочища. Мы их железом прочистим.

Степан молчал. Он смотрел на пламя свечи, и в его глазах, отражавших огонь, было что-то непроницаемое, древнее и печальное.

Ночью Никита не спал. Он вышел из душной избы на пронзительно холодный воздух. Звезды над Уралом были огромными, колючими, чужими. С реки доносился мерный, убаюкивающий шум воды. И еще – далекий, едва уловимый звон. Будто где-то очень глубоко, в самой толще Камня, кто-то ударял молотом по чистой, серебряной жиле. Звон был мелодичным и бесконечно печальным.

Никита страхнул оцепенение. «Ветер в расщелинах, – сказал он себе сурово. – Или кровь в ушах стучит от усталости». Он повернулся, чтобы уйти, и его взгляд упал на край леса. Там, между стволами сосен, на мгновение мелькнуло слабое, бледное свечение. Оно не было похоже ни на огонек, ни на лунный луч. Оно было живым, пульсирующим, и в нем угадывалась форма – невысокая, с непропорционально большой головой. Свечение исчезло так же мгновенно, как и появилось.

Никита Демидов крепко, по-мужицки выругался, сплюнул в сторону леса и твердыми шагами направился обратно в избу. Завтра начиналась работа. Настоящая. А призраки и звон из-под земли его интересовали ровно настолько, насколько они могли указать на новую жилу железа. Все остальное было чепухой, дымом, который должен был рассеяться перед ветром прогресса и воли.

Но в ту ночь ему снились сны. Неясные, обрывочные. Во сне он стоял у края бездонной шахты, а снизу, из тьмы, на него смотрели тысячи бледных, молочных глаз, лишенных зрачков. И земля под его ногами тихо пела на незнакомом языке, и песнь эта была похожа на звон разрываемого металла.

Глава 2. След Белоглазой (1703 г.)

Холод, пришедший с первыми заморозками 1703 года, был не просто отсутствием тепла. Он был сущностью, живым, дышащим существом, выползшим из недр Камня и осевшим на Невьянском заводе истертой, ледяной пеленой. Он выбелил инеем бревна изб, сковал края пруда хрупким, молочным стеклом и заставил дымы из труб стелиться низко, цепко, как призраки, не желающие расставаться с землей. Он впивался в кости, в легкие, превращал каждый вдох в лезвие, а каждый выдох – в клочья пара, похожие на души, спешно покидающие тела.

Но для Никиты Демидова этот холод был лишь досадной помехой. Фоном. Шумом, который надо заглушить грохотом работы.

За год невероятным напряжением воли, угроз, подкупа и простого русского «авось» он совершил почти невозможное. Невьянский завод дышал. Точнее, он тяжело, с хрипом, кашлял копотью и огнем, но это было дыхание. Домна, переложённая заново, пожирала груды бурого железняка, добытого из верхних, легкодоступных пластов. Плотина держала напор, меха, собранные заново тульскими мастерами, рвали легкими порции раскаленного воздуха в горн. Раз в несколько суток из чрева домны с оглушительным ревом и снопом искр вырывался жидкий, слепящий поток чугуна, чтобы остыть в литейных формах в первые, грубые болванки. Продукт был посредственным, хрупким, но он был. Он был доказательством. Царю, самому себе, этой строптивой, молчаливой земле.

Цена этого доказательства витала в воздухе гущей дыма. Страх. Не тот острый, животный страх перед барским гневом или голодной смертью, а страх глухой, мистический, въевшийся в подкорку. Он шел от леса, что стоял стеной, наблюдая красными сосновыми глазами. Он шел от земли, которая временами, в тишине ночи, издавала странные, булькающие звуки, будто переваривая навязанное ей железо. Он шел от «чудских ям» – тех, что показывал Степан. К ним боялись подходить даже днем. Говорили, что из них по ночам доносится глухой стук, будто там, в глубине, кто-то продолжает работу, начатую века назад.

Никита яростно боролся с этим страхом, как с еще одной производственной проблемой. Увеличил пайки. Ввел жесткую, почти военную дисциплину. За разговоры о «нечистом» – порка. За отказ идти в забой – кандалы и отправка на самые тяжелые работы. Он выжигал суеверие каленым железом практической необходимости. Но страх, как сорная трава, прорастал в самых неожиданных местах. И укоренился он, этот страх, в одном человеке.

Степан.

Рудознавец превратился в призрака завода. Он не жил в казарме с рабочими, не селился в слободке. Он скитался где-то на окраинах, появляясь внезапно, как тень, когда его не ждали, и пропадая на дни, когда Демидов требовал его к себе. Его знание недр было феноменальным. Он мог, просто пощупав камень, лизнув его или приложив к уху, сказать, есть ли под ним руда, какая она и как глубоко. Он показывал места, где залежи лежали почти у поверхности. Но каждое такое указание сопровождалось мрачным предостережением, оброненным вскользь, словно не ему, а кому-то невидимому рядом: «Здесь брать можно. Но до этой черной жилы. Дальше – их коридор. Тревожить нельзя». Или: «Руда здесь жирная, но горькая. Много даст, но и много возьмет».

Рабочие его боялись почти так же, как Демидова. Говорили, что он разговаривает с духами гор, что по ночам у него горят глаза, как у кошки, и что однажды его видели сидящим на краю «чудской ямы» и ведущим беззвучную беседу с пустотой. Его прозвище «Рудознатец» произносили шепотом, с оттенком чего-то языческого, нехристианского.

Именно Степану, после долгих препирательств и угроз, Никита приказал найти место для первой настоящей шахты. Не для поверхностного яма, а для вертикального ствола, который уйдет вглубь, к обещанным несметным богатствам.

– Я знаю место, – сказал Степан однажды утром, появившись в дверях конторы Демидова так внезапно, что тот вздрогнул. – Но оно нехорошее.

– Руда есть? – отрезал Никита, не отрываясь от счетных книг.

– Есть. Лучшей не сыскать. Но место... на границе.

– Какой границе? – Демидов поднял взгляд.

– Границе нашего мира и ихнего. Там была ихняя... дорога. Галерея. И могло остаться что-то, что они не успели унести.

В глазах Никиты вспыхнул хищный огонек.

– Значит, будем копать там. Показывай.

Место оказалось в полуверсте от завода, на небольшом, поросшем чахлым ельником холме. С виду – ничем не примечательное. Но стоило подойти ближе, как становилось ясно, почему Степан выбрал именно его. Земля под ногами была неестественно ровной, будто высланной, а корни сосен по краям холма изгибались, словно обтекая что-то круглое, невидимое.

– Здесь был вход, – сказал Степан, ткнув ногой в землю. – Завален. Но память в земле осталась. Она помнит пустоту внизу.

Работы начались на следующий день. Никита лично наблюдал, выбрав позицию на соседнем пригорке. С ним был Григорий, его тень и правая рука, и десятник Федот, лицо которого было землистого цвета, а глаза бегали.

Первые сажени шли тяжело. Мерзлая земля, перемешанная с камнями, сопротивлялась ломам и киркам. Рабочие, человек двадцать, откалывали куски, грузили в корзины, поднимали на веревках. Над ямой повисло молчание, прерываемое только лязгом железа, тяжелым дыханием да редкими, сдавленными ругательствами. Никита замечал, как люди крестятся, прежде чем спуститься вниз, как они сторонятся Степана, который стоял неподалеку, неподвижный, уставившись в копошащуюся в яме толпу своими стеклянными глазами.

К полудню углубились сажени на три. И тут лопата одного из рабочих, рослого парня по имени Артем, звякнула обо что-то не земляное, а каменное, но с металлическим отзвуком. Все замерли.

– Что там? – крикнул сверху Никита.

– Камень, барин! – донеслось снизу, голос Артема дрожал. – Да не простой... Ровный какой-то!

– Расчищай!

Еще полчаса работы, и стало ясно – это не камень. Это была плита. Большая, почти квадратная, из темного, отполированного до легкой матовости камня, которого не было в округе. На ее поверхности проступали едва заметные, стертые временем концентрические круги и странные угловатые знаки.

Сердце Никиты забилось чаще. Не страх. Нет. Азарт. Предвкушение клада. Он сам спустился в яму, оттолкнув рабочих. Прикоснулся к плите. Она была ледяной, и холод ее был не зимним, а каким-то глубинным, идущим из самой преисподней.

– Ломами! Поддеть! – скомандовал он.

Железо заскрежетало по камню. Плита не поддавалась, будто была не просто положена, а срослась с основанием. Только когда в дело пошли самые крепкие рычаги и усилия пяти человек, раздался низкий, стонущий звук, и плита сдвинулась, обнажив под собой черный, пахнущий сыростью и вековой пылью провал. Из него потянуло воздухом – не спертым, а чистым, холодным, с едва уловимым запахом... металла и чего-то цветочного, давно умершего.

Свет факела, брошенный вниз, не достиг дна, поглощенный тьмой. Но он выхватил на миг из мрака гладкие, почти отполированные стены, уходящие вертикально вниз.

– Колодец, – прошептал кто-то из рабочих. – Искусный.

– Лестницу! Веревки! – распорядился Никита, и в его голосе зазвучала сталь.

Спускались первыми он, Григорий с топором наготове и Степан, которого Никита силой заставил идти впереди. «Ты знаешь ихние повадки. Смотри в оба».

Глубина оказалась около пяти саженей. Ноги ступили на твердый, утоптаный пол. Факелы, которых теперь было несколько, осветили узкий, но высокий коридор, уходящий в толщу холма. Стены и свод были выложены тем же темным камнем, что и плита, но здесь резьба была явственней: спирали, зигзаги, изображения каких-то невиданных растений и существ, отдаленно напоминающих ящериц с большими головами. Воздух здесь был на удивление свеж, будто его кто-то проветривал все эти столетия.

– Галерея, – сказал Степан, и его голос, многократно усиленный эхом, прозвучал гулко и чужеродно. – Ихняя дорога. Они ходили здесь. Без факелов. Они видели в темноте.

Они двинулись вперед, осторожно, крадучись. Прошли шагов тридцать. Коридор уперся в тупик. Но не в стену, а в нечто иное. Перед ними была ниша, арка, оформленная как вход в миниатюрное помещение. И в этой нише...

Тишина повисла густая, звенящая.

В нише, на каменном ложе, покоились останки. Не рассыпавшийся скелет, а почти целая фигура, благодаря тому, что на ней сохранилась одежда – вернее, доспехи. Это была кольчуга, но такая, какой никто из присутствующих никогда не видел. Кольца были не железные, а из какого-то тускло-серебристого сплава, мельчайшие, тончайшие, сплетенные с ювелирным, нечеловеческим искусством. Они облевали невысокий, коренастый костяк, создавая впечатление второго, металлического тела. На черепахе – шлем той же работы, с закрытым лицом, где на месте глазниц были вставлены продолговатые пластины темного, почти черного камня. Рядом, у сложенных на груди рук (кости пальцев были неестественно длинными), лежал небольшой предмет: серебряный ларец, простой, без украшений, но отполированный до зеркального блеска.

Это был не просто археологический интерес. Это была встреча. Встреча с тем, о чем шептались в сказках. Со «старым человеком». С Чудью. И она была на расстоянии вытянутой руки.

Рабочие, столпившиеся позади, замерли в суеверном ужасе. Кто-то начал читать молитву. Григорий сжимал топор так, что костяшки пальцев побелели.

Только Никита Демидов не испытывал страха. В нем боролись омерзение, любопытство и все тот же, всепоглощающий азарт. Он шагнул вперед.

– Не тронь, – сказал Степан, и в его голосе была такая сила отчаяния, что Никита на миг остановился.

– Почему?

– Он на страже. Он не просто лежит. Он... оставлен. Чтобы предупредить. Или чтобы охранять.

– Охранять это? – Никита кивнул на ларец. Он наклонился, не обращая внимания на протестующий стон Степана, и взял ларец. Он был тяжелее, чем казался, и холодным, как лед. Этот холод прошел сквозь рукавицы и обжег ладонь.

Никита поставил ларец на пол, откинул простую, но плотно пригнанную крышку.

Внутри, на темно-синем бархате, который рассыпался от прикосновения в пыль, лежали двенадцать шаров.

Они были идеальны. Абсолютно круглые, размером с куриное яйцо, отлитые из того же тусклого серебра, что и кольчуга. Они не сверкали. Они словно впитывали свет факелов, отдавая его мягким, внутренним свечением, будто внутри каждого тлел крошечный, холодный огонек. Они лежали в два ряда, шесть на шесть, и от них исходило такое совершенство формы, такая чуждость всему земному, что даже Никита на миг застыл в немом изумлении.

– Что это? – пробормотал он.

– Не знаю, – голос Степана был прерывист. – Но это не для нас. Это ихнее. Положи назад.

Но было уже поздно. Жадность, та самая, что двигала Демидовым всю жизнь, пересилила осторожность. Он протянул руку, чтобы взять один из шаров, ощутить его вес, понять металл.

Едва его пальцы сомкнулись вокруг холодной, гладкой поверхности, в галерее что-то изменилось.

Воздух сгустился. Запах металла и пыли сменился на острый, щекочущий ноздри аромат озона, как перед грозой. И тогда они услышали звук.

Звук пришел не сверху и не снизу. Он возник везде, заполняя каменный мешок галереи. Это был звук, похожий на плач. Но не человеческий. Высокий, мелодичный, невероятно печальный, он состоял из нескольких нот, сливавшихся в жалобную, бесконечно повторяющуюся фразу. Он шел от стен, от потолка, из самой земли. И в этом звуке была такая тоска, такое невыразимое горе, что у нескольких рабочих по щекам покатались слезы, хотя они и не понимали, почему.

– Кладенец подземный плачет... – зашептал кто-то в ужасе.

Звук длился, может быть, минуту. А потом стих так же внезапно, как и появился. Но в наступившей тишине было что-то еще более страшное. Ощущение, что они не одни. Что за ними наблюдают. Со всех сторон.

Никита, бледный, но собранный, все еще сжимал в руке серебряный шар. Он казался еще холоднее.

– Все. Выносим все, – приказал он, и его голос, обычно такой уверенный, слегка дрогнул. – Тело... эти останки. И этот ларец. Аккуратно. Наверх.

Поднять кольчугу с костями внутри оказалось легче, чем ожидалось. Она была невероятно легкой для металла. Ее завернули в холстину. Ларчик с шарами Никита взял себе. Подъем наверх прошел в гнетущем молчании. Когда последний человек выбрался из черного зева колодца, все невольно обернулись, будто ожидая, что из темноты сейчас выглянет что-то бледное и безглазое.

Плиту на место не вернули. Ее оставили сдвинутой. Черная дыра в земле зияла, как рана.

Наверху находку встретили как величайшую диковинку и одновременно как дурное предзнаменование. Рабочие столпились на почтительном расстоянии, крестясь и шепчась. Кольчугу с останками положили в пустой амбар, куда Никита приказал никого не пускать. Ларчик с шарами он унес в свою избу, превращенную в контору и жилье одновременно.

Весь остаток дня царил странная, нервная атмосфера. Работа на новой шахте встала. Люди отказывались спускаться, говоря, что «место проклятое». Демидов, стиснув зубы, не стал их принуждать – не из жалости, а из прагматизма: испуганный человек в забое опасен. Он ограничился тем, что выставил у амбара с находкой охрану из самых надежных, тульских своих людей под началом Григория.

А сам заперся в избе с ларцом.

Он высыпал шары на грубый дубовый стол. Двенадцать холодных, мерцающих сфер. При дневном свете, пробивавшемся через заиндевевшее окно, они выглядели иначе – не так таинственно, но оттого не менее загадочно. Он взял один, покатал в ладонях. Совершенная форма. Ни шва, ни царапины. Он попытался поцарапать его ножом – лезвие скользнуло, не оставив и следа. Металл (если это был металл) был невероятно твердым. Он поднес шар к уху. Ни звука. Он попытался нагреть у печи – шар не становился теплее, оставаясь ледяным. Он был инертным, мертвым и одновременно живым в своем неподвластном пониманию совершенстве.

Никита отложил шар, взял другой. И тут его взгляд упал на то место на столе, где лежал первый шар. Он ахнул.

На дубовой, потертой поверхности стола, точно под тем местом, где лежал шар, проступил иней. Не просто влажное пятно. А четкий, круглый налет из мельчайших ледяных кристаллов, повторявший форму шара. Демидов тронул его пальцем – да, это был настоящий лед, холодный и хрустящий.

Он быстро поднес к этому месту зажженную свечу. Лед не таял. Кристаллы лишь слегка заискрились в пламени.

Сердце его забилося с новой силой. Это было не просто серебро. Это было что-то иное. Нечто, обладающее свойствами, противоречащими природе. Холод, порождающий холод. Возможно, ключ к чему-то большему. К новым сплавам? К способу охлаждения металла? К... чему-то такому, что могло бы дать невиданное преимущество?

Он не думал о плаче из-под земли. Он отогнал мысли о бледном лице в шлеме. Он мыслил категориями выгоды, пользы, технологии. Проклятие для него было пустым звуком. Аномалия же была интересна.

Тем временем по заводу и слободке поползли слухи. Искаженные, обраставшие ужасающими подробностями. Говорили, что в амбаре по ночам слышится скрежет костей и звон кольчуги. Что шары в ларце – это на самом деле глаза чуди, и они видят все, что происходит вокруг. Что плач под землей был предупреждением: забравшие дары умрут страшной смертью.

Наиболее суеверные уже собирали нехитрые пожитки, готовясь к бегству в лес, несмотря на лютый холод. Дисциплина, выстроенная Демидовым за год, трещала по швам под напором первобытного страха.

Степан не пошел в слободку. Он не мог. С того момента, как его пальцы, по приказу Демидова, прикоснулись к холодной плите, закрывавшей вход, в нем что-то оборвалось. Он чувствовал себя проводником беды. Предателем. Он привел жадного человека к порогу, который должен был оставаться закрытым.

Он ушел в лес, к одной из дальних «чудских ям», той, что была скрыта в чаще и куда даже звери не ходили. Он сел на краю, свесив ноги в темноту, и закрыл глаза, пытаясь уловить хоть какой-то знак, голос, понимание. Но лес молчал. Молчала и земля. Это было молчание осуждения.

Он не помнил, как уснул. Усталость и душевная опустошенность свалили его, как подкошенного.

И ему приснился сон.

Он стоял в огромной пещере. Свод ее терялся в вышине, но свет здесь был – мягкий, рассеянный, исходящий от самих стен, покрытых жилами какого-то светящегося мха или кристаллов. В центре пещеры бил источник не воды, а жидкого, тягучего света, серебристо-молочного, и тихо журчал, разливаясь по каменному ложу. И вокруг этого источника сидели, стояли, лежали невысокие, коренастые фигуры с бледной, почти прозрачной кожей. Их лица были обращены к свету, а большие глаза, без зрачков, цвета застывшего молока, отражали его мерцание. Они не двигались. Они просто были. Часть этого места, часть тишины, часть света.

И Степан понял, что спит, и что это не просто сон. Это видение. Покаяние или наказание.

Тогда из-за источника поднялась одна из фигур. Она была выше других, стройней. Ее черты, хотя и чуждые, были утонченными, почти прекрасными в своей инаковости. Длинные, белесые волосы, похожие на струйки горного хрусталя, ниспадали на плечи. На ней было что-то вроде плаща из той же сверхтонкой кольчужной сетки, что была на том, кого они нашли.

Она посмотрела на Степана. И в ее взгляде не было ни гнева, ни ненависти. Была бездонная, всепонимающая печаль. Печаль матери, смотрящей на дитя, которое намеренно сует руку в огонь.

Она приблизилась. Ее ступни не касались камня. Она парила, или ступала по воздуху. Она остановилась перед ним и подняла руку. Ее пальцы были длинными, тонкими, с чуть заостренными ногтями цвета перламутра.

Она прикоснулась указательным пальцем к его левой руке, к тыльной стороне ладони.

И произнесла одно слово. Оно прозвучало не в ушах, а прямо в сознании, и было соткано из шипения подземных вод, звона расщепляемого камня и шелеста падающей в бездну вечности пыли. Он не понял его смысла. Но почувствовал его суть. Это было слово «Хранитель» и «Предатель» одновременно. Приговор и клеймо.

От точки прикосновения хлынул холод. Не внешний. А внутренний. Ледяная волна, которая помчалась по венам, по костям, выжигая тепло жизни. Он попытался крикнуть, но не смог. Он смотрел, как его рука, начиная с кончиков пальцев, белеет, покрывается инеем, теряет чувствительность. Холод поднимался к запястью, к локтю, неумолимый и абсолютный.

Он проснулся с воплем, вырвавшимся из пересохшего горла.

Было еще темно. Лес стоял в непроглядной, предрассветной мгле. Он лежал на мерзлой земле у края ямы, и все его тело бил озноб, но не от холода, а от ужаса. Он поднял руки перед лицом.

Левая рука. Пальцы. Кончики трех пальцев – указательного, среднего и безымянного – были белыми. Мертвенно-белыми, как мрамор. И холодными на ощупь. Он попытался пошевелить ими – они слушались с трудом, были одеревеневшими, чужими. Он ткнул их себе в щеку – и вскрикнул от боли. Не от прикосновения, а от его отсутствия. Он почти ничего не чувствовал. Лишь далекое, глухое онемение и пронизывающий, костный холод, исходящий изнутри.

Обморожение? Но ночь, хотя и холодная, не была такой уж лютой. И почему только три кончика пальцев? И почему холод не уходил, а словно жил в них своей жизнью?

Он вспомнил сон. Прикосновение. Слово.

И тогда до него дошло. Это не было предупреждением. Это было меткой. Печатью. Он, приведший грабителя к порогу, был отмечен теми, кого предал. Он стал проводником не только для Демидова, но и для них. Теперь они могли найти его. Всегда. И, возможно, не только его.

Дрожащими руками, правой, еще послушной, он нашупал в кармане нож, приставил лезвие к белесой коже на кончике пальца. С силой надавил. Кровь не выступила. Была лишь белая, мертвая полоска, которая медленно начала заполняться не кровью, а какой-то прозрачной, вязкой жидкостью. И холод от разреза стал только сильнее.

Степан зарыдал. Тихо, безнадежно, прижимая свою обмертвелую, отмеченную руку к груди. Он знал теперь наверняка. Они разбудили не просто мертвеца в кольчуге. Они разбудили нечто гораздо большее. И первая кара уже настигла его.

А вдалеке, со стороны завода, в серое предрассветное небо поднимался первый, жирный и черный, столб дыма от растопленной домны. Жизнь, вернее, ее жалкая, дымная пародия, продолжалась. Не ведая, что первый звонок к началу долгой расплаты уже прозвучал. И что холод трех пальцев на руке юродивого рудознатца – это лишь первая, крошечная льдинка в наступающей лавине ужаса, которую принесло с собой Невьянское жало, вонзившееся в тело древней, спавшей горы.

Глава 3. Цена серебра (1704 г.)

Весна 1704 года пришла на Урал не зеленой волной, а грязным, предательским половодьем. Нейва, сбросившая ледяные оковы, вздулась мутной, бурой водой, подмывая хлипкие берега и угрожая плотине. Лес, еще не покрытый листвой, стоял черным, мокрым частоколом, из которого сочилась талая вода, превращая все дороги и тропы в непролазное месиво грязи. Воздух был сырым и холодным, пронизывающим до костей, и казалось, сама природа, оттаяв, обнажила не свежесть, а гниль и усталость.

Но для Невьянского завода эта грязная, трудная весна стала временем странного, лихорадочного расцвета. Завод больше не кашлял. Он ревел. Две домны теперь дышали попеременно, день и ночь, изрыгая в низкое небо столбы ядовитого, желтоватого дыма, который смешивался с туманом и нависал над слободой удушливой пеленой. Рев воды, лязг цепей, скрежет лебедок, глухие удары молотов – все это слилось в один непрерывный, оглушительный гул, под который теперь жила вся долина. Этот гул заглушал мысли. Заглушал страх. Он был музыкой прогресса, железной симфонией, дирижером которой был Никита Демидов.

Серебряные шары, найденные год назад, были отправлены в Петербург с очередным обозом, сопровождаемые восторженным посланием о «диковинных уральских находках, что свидетельствуют о древнейших знаниях местных народов о металлах». Никита не был дураком. Он не стал расписывать мистику. Он представил шары как технологическую загадку, вызов умам царских алхимиков и мастеров. Пусть ломают головы. А ему это давало кредит доверия. Царь Петр, увязший в войне со шведами, прислал короткую, энергичную грамоту: «Диковины получил. Удивительны. Жду теперь диковин в деле – пушек и ядер. Прибавляй завод. Не зевай. Петр».

И Демидов не зевал. находка в старой чудской галерее, несмотря на пересуды и страх, стала для него лучшей рекламой. Слух о «серебряных яйцах» и «колдуне в кольчуге» разнесся далеко за пределы Невьянска. И это привлекло людей. Не только беглых, отчаявшихся и голодных. Потянулись искатели приключений, авантюристы, те, кого манила не просто пайка, а жажда быть причастными к тайне, к возможной золотой жиле. Рабочих рук стало больше. И Никита, как паук, сплетал их в жесткую, беспощадную сеть производства.

Он построил новые бараки – длинные, мрачные казармы из сырых бревен, где нары в два яруса теснились вдоль стен. Он ввел жесткий регламент: подъем за час до рассвета, десять часов у домны или в забое, скудный обед из похлебки и каши прямо на рабочем месте, отбой с закатом. Опоздание – штраф, прогул – порка и удвоенная смена, попытка бегства – каторга в рудниках, о которых шептались, что оттуда не возвращаются. Он создал систему доносчиков и надсмотрщиков во главе с неукротимым Григорием, чья преданность хозяину лишь укрепилась после истории с шахтой. Григорий видел чудеса и ужасы, и выбрал сторону силы – сторону железа и воли.

Дисциплина была железной. Страх перед батогами и голодной смертью пересиливал страх перед «старыми людьми». Работа кипела.

Но у железа, как выяснилось, была и другая цена. Менее зрелищная, чем плач из-под земли, но оттого не менее страшная в своей повседневности.

Первым тревожным звонком стал кашель.

Он начался у старых доменщиков, тех, кто дышал воздухом, насыщенным мельчайшей угольной и рудной пылью. Кашель сухой, надрывный, лающий. Он раздирает горло, выворачивал внутренности, не давал спать по ночам. Потом кашель стал влажным, с кровавой мокротой, окрашенной в грязно-рыжий цвет железняка. Люди начали худеть, сохнуть на глазах, их лица приобретали землистый, серый оттенок. Они слабели, не могли таскать тяжелые формы, падали у горнов. Федот, старый доменщик, первый, кто зажег печь для Демидова, стал одним из первых жертв. Его принесли в барак однажды утром, когда он не вышел на смену. Он лежал на нарах, и каждый его вдох звучал как скрежет камня о камень. Он смотрел на соседей мутными глазами и хрипел: «Легкие... закаменели...»

Его пытались лечить дегтем, травами, молитвами. Ничего не помогало. Через две недели он задохнулся во сне. А на следующий день его место у домны занял новый работник, пятнадцатилетний паренек из беглых, с широко раскрытыми от страха глазами.

«Каменная болезнь», «рудничная чахотка» – так окрестили недуг. Она косила людей медленно, но неотвратимо. И Демидов... отреагировал. Прагматично. Он приказал выдать работающим у печей и в дроблении руды холщовые повязки на лицо. Смехотворная, бесполезная мера, но она создавала видимость заботы. Он увеличил пайку хлеба для ослабевших – чтобы те дольше держались. Он пригрозил лекарям-самоучкам, что высечет их, если те будут распускать панику. Смерть стала учитываемым производственным расходом. Как сломанная кирка или перегоревший уголь.

Второй бедой стала слепота.

Не полная, нет. А внезапные, приходящие приступы. Чаще всего – ночью, при ярком свете факелов или новых, дорогих масляных ламп, которые Демидов выписал для освещения важных участков. Рабочий, например, у плавильного котла, внезапно вскрикивал, хватал себя за лицо. «Ослеп! Барин, ослеп!». Свет, яркий и резкий, будто выжигал ему глаза изнутри. На несколько минут, а то и часов, человек погружался в полную тьму, в панике ощупывая все вокруг себя. Потом зрение возвращалось, но не полностью. Мир виделся расплывчатым, туманным, как сквозь мутное стекло. А некоторые начинали жаловаться, что видят странные пятна, тени, которые двигаются независимо от источников света.

Особенно часто это случалось с теми, кто работал на новой шахте – «граничной», где нашли погребение. Там, в глубине, при свете фонарей, приступы накатывали чаще. Люди выбегали наверх, рыдая, с красными, опухшими веками, крича, что «в свете что-то есть, что-то кусается!».

Слухи поползли с новой силой. Говорили, что это месть чуди за украденные глаза-шары. Что те, кто ослеп, – это те, на кого упал взгляд «старого человека» из кольчуги. Что в свете ламп теперь живут мелкие, злые духи, вырвавшиеся из-под земли.

Демидов и здесь нашел «рациональное» объяснение. Он объявил, что виной всему – ядовитые испарения от руды, «купоросный дух», который портит зрение. Он приказал чаще проветривать штольни (что было почти невозможно) и велел кабатчику разбавлять чистый спирт водой поболее, намекая, что некоторые слепнут от сивушных паров. Он даже выписал с Тулы

очки для самых ценных мастеров – грубые, с толстыми стеклами. Символический жест, который стоил ему немалых денег, но создавал образ заботливого хозяина.

А сам он, в тишине своей избы, изучал отчеты. Рост добычи. Увеличение выплавки. Процент брака. И отдельной графой – «убыль людская». От болезней, от несчастных случаев (обвалы, ожоги, падения), от побегов. Цифры росли. Но прибыль росла быстрее. И это было главным. Цифры успокаивали. Они были реальны. В отличие от призрачных «духов» и «проклятий».

Но был один человек, для которого призраки стали реальнее фактов. Человек, ставший живым мостом между миром железа и миром тени, – Степан.

Он жил теперь на самом краю слободы, в покосившейся баньке, которую ему из милости (а скорее, из брезгливого опасения) выделил Демидов. Его левая рука была постоянным напоминанием о той ночи. Три пальца – указательный, средний, безымянный – так и остались мертвенно-белыми, холодными, как мрамор. Они не гнили, не отмирали окончательно, но и не жили. Он почти не чувствовал ими, не мог выполнять тонкую работу. Но в них была своя, ужасная жизнь. По ночам, а иногда и днем, холод из пальцев расползлся выше, по ладони, к запястью, вызывая приступы мучительной ломоты, будто кости выкручивали из суставов. И с этими приступами приходили видения.

Он не просто вспоминал тот сон. Он проваливался в него. В любое время. Стоило ему закрыть глаза от усталости, или присесть на корточки у костра, как стены баньки расплывались, и он снова оказывался в той огромной, светящейся пещере. Видел источник жидкого света. Видел бледные, молчаливые фигуры. И видел Ее – ту самую, Белоглазую. Она не приближалась больше. Она просто смотрела на него из-за источника. Ее беззрачковые глаза были полны ожидания. Как будто она ждала, когда он что-то поймет. Когда он сделает что-то.

А еще он начал слышать землю. Не только в видениях. Наяву. Когда прикладывал ухо к земле у старой шахты, или просто стоял в тишине (той редкой тишине, что выпадала в перерывах между грохотом), он различал глухие, ритмичные звуки. Не плач. А нечто иное. Как будто далекие, очень медленные удары сердца. Или... работающий механизм. Огромный, древний, скрытый в толще горы. И этот механизм, ему казалось, работал теперь чуть-чуть быстрее. Или это билось его собственное сердце, подгоняемое страхом?

Он пытался говорить с рабочими, предостерегать. Но его сторонились еще пуще. Он был «отмеченным». Его белые пальцы считались печатью дьявола или, того хуже, самой чуди. Его советы не слушали. Его предупреждения считали бредом сумасшедшего.

Единственный, кто его еще терпел, был Демидов. Потому что Степан, несмотря на свою «порчу», оставался гениальным рудознатцем. Его знание недр было по-прежнему бесценным. И именно Степан, в один из дней поздней весны, когда дождь лил как из ведра, пришел к хозяйской избе с новым предупреждением. Он стоял на пороге, с него текли ручьи воды, его лицо было серым от бессонницы и боли, а левая рука, закутанная в тряпье, прижата к груди.

– Никита Демидыч. Надо закрыть шахту. Ту, главную, новую.

Никита, разбирающий приходно-расходные книги, даже не взглянул на него.

– Опять твои бредни? Шахта дает лучшую руду. Чистую, без примесей. Ее и закрыть?

– Не руда там главное, – голос Степана был хриплым, но твердым. – Там... жила другая. Жила Чудинова гнева.

Демидов наконец поднял голову. В его глазах светилось холодное раздражение.

– Жила? Какая еще жила? Ты сам показывал – рудный пласт, мощный, уходит вглубь.

– Пласт – над ней. Как крышка. А под ней... пустота. И в пустоте – гнев. Он просыпается. От стука, от огня, от нашей тяжести. Ты слышишь землю? Она стонет под той шахтой.

– Я слышу, как деньги звенят в моей казне, – отрезал Никита, возвращаясь к бумагам. – И слышу, как царь требует железа. А земля... земля терпит. Она должна терпеть.

– Не должна! – выкрикнул Степан, и в его голосе прорвалось отчаяние. Он шагнул вперед, к столу, и невольно размотал тряпку с руки, тыча белыми, мертвыми пальцами в сторону чертежей. – Она живая! Она все помнит! Ты берешь у нее, не спросив, не благодаря! Ты как тать в ночи! Она ответит! Уже отвечает! Кашлем, слепотой! Это только начало! Закрой шахту, Никита Демидыч! Хотя бы эту одну! Копай в другом месте, я покажу! Там тоже есть, только...

– Только что? – Демидов встал, его тень от свечи легла на Степана, накрыв его с головой. – Только дальше? Труднее? Дороже? Нет, старик. Я не отступлю. Ни от одной пяди этой земли. И не от одной жилы. А твой «гнев земли»... – он усмехнулся, и в этой усмешке была вся его суть: тульский кузнец, вознесенный волей царя и собственной хваткой, презирающий все, что нельзя взвесить, измерить или переплавить. – Гнев земли лечится порохом и железом. Не хочет – взорвем. Мешает – проложим путь силой. Я не из тех, кто боится сказок.

Он подошел к окну, за которым лил дождь и чернела громада завода.

– Видишь? Это – сила. Настоящая. Она кормит, поит, одевает. Она строит империю. А твои подземные карлики... Они проиграли. Они сбежали. Оставили свое добро. Значит, оно наше. По праву сильного. И я буду брать. Пока не выскоблю эту гору дочиста. А ты... если хочешь есть, делай свое дело. Показывай руду. А не хочешь... – он обернулся, и его взгляд был пустым и жестким, как штык. – Лес большой. Иди и сгинь в нем. Как твоя чудь.

Степан отшатнулся, будто от удара. Он смотрел на этого человека, на его резкое, окаменевшее в решимости лицо, и понимал, что говорит с глухой скалой. Стихией, столь же неумолимой и чуждой, как те, что спали под землей. Но одна стихия спала. Другая – действовала, разрушала, потребляла.

Он молча, неловко замотал тряпьем свою больную руку, повернулся и вышел в дождь. Холодные капли тут же промочили его до костей, но холод этот был ничто по сравнению с ледяным ожогом отчаяния в его груди.

Он не пошел в свою баньку. Он побрел к шахте. К той, «граничной». Дождь хлестал по доскам крепи, заливал грязные лужи у входа. Дежуривший стражник, укрывшись под навесом, мрачно кивнул ему – все знали, что Рудознатец может приходить когда угодно.

Степан спустился по шатким лестницам вниз. Глубже, глубже. Мимо освещенных факелами забоев, где, несмотря на поздний час, кипела работа – Демидов ввел ночные смены. Звяканье кирок, скрежет тачек, сдавленный кашель рабочих – все это тонуло в гуле воды, сочившейся по стенам. Шахта была сырой, неуютной. Воздух пах плесенью, потом и страхом.

Он дошел до самого низа, до нового, самого глубокого забоя. Здесь добывали «чистую» руду. Рабочих здесь было мало – место считалось нехорошим. Степан попросил их подняться наверх, сказав, что нужно «прислушаться». Те ушли с явным облегчением.

Остался один. Прислонился спиной к мокрой, холодной стене. Погасил свой фонарь.

Тьма навалилась мгновенно, густая, абсолютная, пахнущая сыростью и железом. И в этой тьме он закрыл глаза. И отпустил себя.

Видение нахлынуло сразу, без перехода. Он снова в пещере света. Но теперь источник светится тревожно, пульсируя, как раненое сердце. Фигуры вокруг него медленно, в унисон, покачиваются. И смотрят не на свет, а вверх, на свод. Ждут.

А Она – Белоглазая – стоит теперь прямо перед ним. Ее рука с длинными пальцами поднята. И она указывает вверх. Туда, где в его реальности находится забой, добывающий руду.

И тогда Степан, в этом пограничном состоянии между сном и явью, услышал. Не сердцебиение. А голос. Тот же, что произнес слово-клеймо. Но теперь в нем были не печаль, а холодная, нечеловеческая ярость. И в этой ярости были слова. Он не понимал их, но смысл входил в него, как лезвие:

«Вы берете плоть. Вы будите боль. Вы разрываете покров. Когда покров порвется – хлынет кровь земли. И она сожжет ваши глаза, чтобы вы не видели, как умираете. Она заполнит ваши легкие, чтобы вы не кричали. Она будет вашей платой. Каждой пылинкой. Каждой каплей. Каждым вздохом».

Он открыл глаза в физической тьме шахты. Его трясло. Боль в руке была невыносимой, будто белые пальцы горели ледяным огнем. Он зажег фонарь дрожащей рукой. Свет ударил в глаза, и он вскрикнул – ему показалось, что в луче света закружились тысячи мельчайших, бледных искр, как пыль, но живая.

Он бросился к выходу, карабкаясь по лестницам, спотыкаясь, обдирая руки. Он выбежал на поверхность, под холодный, пронизывающий дождь, и судорожно глотнул воздух. Но и в воздухе, пропитанном дымом завода, ему чудилась теперь та же угроза: каждая частица копоти, каждая пылинка руды, летящая сюда из дробильни, несла в себе семя возмездия.

Он посмотрел на огни завода, на темные силуэты домен, на свет в окнах избы Демидова. И понял, что он ничего не может сделать. Он – лишь проводник. Проводник руды для одного мира. И проводник гибели – для другого. И оба этих пути вели в пропасть.

А в это время в конторе Никита Демидов ставил жирную точку в месячном отчете. Добыча выросла на треть. Выплавка – на половину. «Убыль людскую» он аккуратно записал в графу «прочие расходы». Он откинулся на стуле, удовлетворенный. Цифры были прекрасны. Они не лгали. Они не пугали призраками. Они сулили власть и богатство.

Он взял со стола небольшой образок, который всегда возил с собой. Не из особой набожности, а как талисман, связь с привычным миром. «Спаси и сохрани», – пробормотал он привычно, целуя холодную эмаль.

За окном, в кромешной тьме, под завывание ветра и шум дождя, глухо, едва слышно, прогремел первый за эту ночь обвал в старой, заброшенной штольне, что была в стороне от основной шахты. Никто не пострадал. Это было просто движение породы. Естественный процесс.

Никита вздрогнул, прислушался. Потом махнул рукой, снова углубившись в бумаги. Просто земля оседает. Ничего страшного.

Он не знал, что Степан, стоявший под дождем, воспринял этот отдаленный грохот как первый, едва слышный, судорожный вздох просыпающегося Гнева. Первое предупреждение, которое снова останется неслышанным.

Цена железа продолжала расти. И счет, который однажды предъявят, был уже не только в рублях и пудах чугуна. Он был в кашле, раздрающем грудь, в слепоте, наступающей во свете, и в тихом, неумолимом шепоте земли, который скоро должен был превратиться в рев.

Глава 4. Подменьш (1705 г.)

Осень 1705 года выдалась на Урале необычайно сырой и туманной. Стоял не холод, а пронизывающая, липкая влажность, которая пропитывала одежду насквозь, заставляла бревна домов отсыревать и покрываться сизой плесенью, а над Невьянским прудом и в низменностях между холмами повисли неподвижные, грязно-белые полотна тумана. Они приходили с ночи, иногда не рассеиваясь к полудню, и тогда весь мир съезжился до размеров нескольких шагов: домна редела где-то в молочной пустоте, люди двигались как призраки, и только стук, грохот и кашель по-прежнему прорезали эту немую вату, напоминая, что гигантская машина завода работает, невзирая ни на что.

Этот туман многим казался нечистым. В нем чудились движения, не принадлежащие человеку, шорохи, не похожие на звериные. Говорили, что это духи леса и гор, лишённые крова из-за вырубок и шахт, сбились в стаи и бродят, ища, к кому бы прилепиться. А самые старые и суеверные шептали, что это – дыхание самой Чуди. Что оно выходит из-под земли, чтобы посмотреть, что натворили на поверхности.

В такой день, густой и беспросветный, в семье углежого Трофима и его жены Арины, жившей в самой дальней избе у подножия скалистого отрога, прозванного в народе «Чертовым пальцем», родился ребенок. Мальчик.

Трофим был молчаливым, крепким мужиком, весь покрытый вечным слоем угольной пыли, от которой не спасало никакое мыло. Арина – уставшей, исхудавшей женщиной с потухшими глазами, у которой до этого двое детей не дожили и до года. Роды были трудными, долгими, Арина чуть не умерла. Принимала повитуха, старуха Маремьяна, известная всем как знахарка и ворожея, к которой втайне ходили и рабочие, и их бабы, несмотря на все запреты Демидова и отцовские угрозы местного священника.

Когда все кончилось и младенец, обтертый и запеленутый, лежал рядом с обессиленной матерью, в избе повисла странная тишина. Туман за окном казался стеной. И Маремьяна, перевязывавшая пуповину, вдруг замедлила движения. Ее морщинистое лицо, обычно такое выразительное, стало каменным.

– Что, бабка? – хрипло спросил Трофим, стоявший в дверях. Он боялся. Боялся, что жена умрет. Боялся, что ребенок нежилец.

– Ничего, – отрезала старуха, но ее голос звучал глухо. – Ребенок... живой. Крепкий.

Но она не сказала самого главного. Она не сказала, что младенец не закричал. Он лишь тихо всхлипнул один раз, когда шлепнули, и смолк. Его глаза были закрыты, личико – странно спокойным, не сморщенным, как у новорожденных. И кожа... она была не красной, а бледной, почти фарфоровой, и холодной на ощупь, несмотря на тепло печки и купели.

Трофим, радуясь, что живы оба, не заметил этого. Он вынес Маремьяне чарку самогона и горсть медяков. Та выпила залпом, сунула деньги в складки одежды и ушла, не оглядываясь, быстро растворившись в тумане. Ее молчание было красноречивее любых слов.

Первую неделю все было почти как обычно. Почти. Мальчика назвали Потапом, в честь святого. Он почти не плакал. Спал непривычно много и крепко, просыпаясь только чтобы сосать грудь, и то без обычного детского жадного азарта. Он ел молча, его большие, синеватые веки были опущены. Арина, сначала обрадованная спокойным нравом младенца, начала тревожиться.

– Он все спит, Трофим. И холодный какой-то. Дышит тихо-тихо.

– Крепкий мужик растет, – отмахивался угольщик, хотя и сам порой подходил к колыбельке и задерживал над личиком сына руку, проверяя, дышит ли. Дышал. Но как-то уж слишком незаметно.

А потом, когда Потапу исполнился месяц, он открыл глаза.

Это случилось глубокой ночью. Арина проснулась от чувства, что на нее смотрят. Она повернулась к колыбели, стоявшей у печки. В темноте, в слабом отблеске тлеющих углей, она увидела два бледных, светящихся кружка. Не глаза. А именно кружки. Как две маленькие луны. Они были широко раскрыты и смотрели прямо на нее – не по-детски рассеянно, а с сосредоточенным, изучающим вниманием. В них не было тепла, любопытства или голода. Был только холодный, безразличный интерес.

Арина вскрикнула и перекрестилась. Светящиеся точки мигнули и исчезли – ребенок закрыл глаза. Женщина дрожащей рукой зажгла лучину. Подошла к колыбели. Потап спал, его лицо было безмятежно. Но когда она осторожно приоткрыла ему веко, она увидела то, от чего кровь застыла в жилах. Радужка глаза была не голубой, не серой, а странного, мутно-молочного цвета, почти без различимого зрачка. И казалось, что в глубине этого молочного тумана что-то слабо мерцает, как свет далекой звезды в облачный день.

С этого момента странности посыпались одна за другой. Ребенок не просто редко плакал. Он вообще не издавал звуков, кроме тихого, ровного дыхания. Он лежал в колыбели, уставившись в потолок или в стену своими бледными, всевидящими глазами, и его взгляд пугал взрослых. Он следил за движением людей по избе, поворачивая голову с неестественной для младенца плавностью.

А потом началось с водой.

Однажды Арина, замешивая тесто, поставила рядом с колыбелькой ведро с принесенной с проруби водой. Потап лежал, не сводя глаз с бревенчатой стены. Вдруг он протянул свою крошечную, бледную ручку и ткнул пальцем в сторону стены. Арина, занятая делом, не обратила внимания. Через час она увидела, что по стене, именно в том месте, куда показывал ребенок, расплзается огромное, сложное пятно сырости. Оно не было похоже на обычный грибок. Оно складывалось в странные, угловатые узоры, напоминавшие то ли письмена, то ли схему рудных жил. От него шел слабый, металлический дух, как от только что расколотой породы.

Трофим, вернувшись с работы, стер узор тряпкой. На следующий день он проступил снова, еще явственней. И снова – после того, как Потап молча указал на стену.

Слухи, как всегда, поползли мгновенно. Сначала по шепоткам между бабами у колодца, потом – между мужиками в кабаке. Дошли они и до старухи Маремьяны. Ту привели к Трофиму почти силой.

Старуха вошла в избу, перекрестила порог сложным, тайным крестом, который знали только знахари. Она подошла к колыбели и заглянула в нее. Долго смотрела. Потом отступила, и лицо ее стало восковым.

– Дите твое, Аринка, – сказала она тихо, но так, что слышно было каждое слово, – а может, и не твое вовсе.

– Как так не мое? Я его рожала! – всплеснула руками Арина.

– Рожала ты своего. А это... подкинули. Пока ты без памяти была. Или пока душа твоего, настоящего, на том свете дорогу искала.

В избе повисла ледяная тишина. Трофим побледнел.

– Подменыш? – выдохнул он. Слово это, древнее, как сами горы, повисло в воздухе, наполнив его холодным ужасом.

– Он, – кивнула Маремьяна. – Взгляни на него. Не плачет. Холодный. Глаза, как у ночной птицы. И знаки водит на стенах. Это он знаки ихние чертит. Тех, что под землей. Они свое чадо в люльку подсунули, а твое... твое с собой унесли. В гору. Или в озеро.

Арина завывала, бросившись к колыбели, будто желая защитить младенца от этих слов. Но сама уже боялась его. Боялась его молчания, его взгляда.

– Что делать-то? – простонал Трофим, сжав кулаки. – Сжечь? Утопить?

– Убить нельзя, – резко сказала Маремьяна. – Обидишь их пуще. Они тогда всю слободу разорят. Надо... выпытать у него. Узнать, чего они хотят. Может, вернуть его захотят, а твоего живого отдадут. А может... им тут что нужно.

– Чего им тут нужно? – взорвался Трофим. – Уголь им? Железо?

– Не знаю. Знает только он. – Бабка ткнула костлявым пальцем в сторону ребенка. – Он с ними связан. Он – как окно. Они в него смотрят. Через него... и действуют.

Слух о подменыше в семье углежого Трофима разнесся по всей слободе мгновенно. К избе повалили любопытные. Заглядывали в окна, крестились, шептались. Некоторые приносили гостинцы – хлеб, сало, тряпицы. Не из доброты. Из страха. Чтобы задобрить и дитя, и тех, кто за ним стоит. Другие, наоборот, швыряли в стену избы комья грязи и кричали, чтобы «выносили нечисть из поселка».

Трофим, отчаявшись, пошел к Демидову. Доложил, как умел, о странностях. Никита выслушал его, сидя за столом, с каменным лицом.

– Ребенок больной, – отрезал он. – От сырости. Или от твоей пьяной крови. Лечить надо, а не бабкины сказки слушать. Вон, новый лекарь из Тобольска приехал. Пусть посмотрит.

Лекарь, молодой и напыщенный немец по имени Иоганн, осмотрел младенца, пощупал, послушал. Констатировал «слабость жизненных сил» и «возможную воду в голове». Выписал какую-то горькую микстуру. Она не помогла. Знаки на стене появлялись снова и снова, теперь уже не только от воды. Иногда на рассвете Арина находила на полу у колыбели мелкую, серебристую пыль, похожую на истолченную слюду. А однажды она увидела, как Потап, лежа на спине, медленно водит в воздухе пальцем, и в луче света от окна за его пальцем тянется едва видимый, мерцающий след, похожий на след паутины, но пахнувший озоном.

Страх в слободе нарастал. Теперь уже не только из-за болезней и обвалов. Теперь он обрел лицо. Бледное, молчаливое, с глазами цвета тумана.

Именно в этой атмосфере всеобщей нервозности и родилась дерзость, которая обернулась катастрофой.

Был в артели углежогов парень по прозвищу Ярь. Бывший солдат, сосланный за буйство, здоровенный, насмешливый и абсолютно бесстрашный, потому что считал, что видел в войне все виды смерти и ничего сверхъестественного нет. Он громче всех смеялся над «подменным» и над трусостью мужиков.

– Бабы дуры, старики выжили из ума! – орал он в кабаке, хлопая чаркой по столу. – Ребенок хилый родился, ну и что? А вы – «чудь, подземелье»! Да я ту шахту, где ваша чудь сгнила, одной левой выворочу! И этого молчуна вашего в печь доменную швырну – посмотрим, запищит!

Его пытались унять, заткнуть ему рот. Но Ярь был пьян и зол на весь белый свет. Он вывалился из кабака и, шатаясь, пошел не в барак, а в сторону избы Трофима.

– Где тут у вас дитё чудинное? – ревел он, ломая плетень. – Покажите-ка мне его! Я с ним поговорю!

Он вломился в избу, где перепуганные Трофим и Арина пытались заслонить колыбель. Ярь отшвырнул Трофима, как щенка, и наклонился над люлькой.

Потап лежал, не спал. Его молочные глаза смотрели прямо на громилу. И в этом взгляде не было ни страха, ни любопытства. Была пустота. Бездонная и холодная.

– Ага! – ухмыльнулся Ярь. – Видал я таких. Болен головой. Щас я тебя...

Он не успел договорить. Его взгляд скользнул по стене, где как раз проступал свежий, влажный узор – на этот раз сложный, похожий на спиральную галактику или на схему лабиринта. Ярь замер. Его пьяная бравада куда-то испарилась. Он смотрел на знак, и лицо его медленно менялось. Наглая усмешка сползла, уступив место недоумению, потом – настоороженности, и, наконец, животному, первобытному страху.

– Что... что это? – прошептал он.

Никто не ответил. Ярь отшатнулся от колыбели, будто обжегшись. Он выбежал из избы, не закрывая за собой дверь, и исчез в ночном тумане.

Его больше не видели до утра.

Нашли его на рассвете стражники, обходившие периметр завода. Он сидел, прислонившись к крепости у входа в ту самую, «граничную» шахту. Он был жив, но это было хуже смерти.

Ярь сидел, обхватив колени, и безостановочно, монотонно качался вперед-назад. Его глаза были широко раскрыты и налиты таким ужасом, что, казалось, вот-вот лопнут. Слюна тонкой нитью стекала из уголка рта. Он был мокрый насквозь, будто прошел сквозь водопад, а его одежда и волосы были покрыты мельчайшей, серебристой пылью, что иногда находили у колыбели Потапа.

Он не реагировал на оклики, на толчки. Он смотрел в пространство перед собой и что-то бормотал. Сначала неразборчиво. Потом стражники, наклонившись, разобрали отдельные слова и обрывки фраз. От них кровь стыла в жилах.

– ...маленькие... уют... не молотом... поют... – бормотал Ярь. – Железо поет... высоко... тонко... больно ушам... Они смотрят... глаза большие... не отвести... Вода светится... и по ней ходят... Там город... из света и звона... Он сказал... дитя сказало... что мы воры... что мы разорвали песню... Теперь они допоют... они допоют нас...

Он снова замолкал, потом начинал выть, тихо, по-волчьи, зажимая уши ладонями: – Не пойте! Не пойте! Хватит!

Его привели к Демидову. Никита вышел на крыльцо, холодно оглядел обезумевшего парня. Лицо хозяина было непроницаемо.

– Пьян был. В шахту свалился. Контузило, – отчеканил он. – Отвести в избу к лекарю. Пусть успокоит.

– Барин, да он же... – начал один из стражников, но встретил взгляд Демидова и замолчал.

– Он болен, – повторил Никита с ледяной твердостью. – И болтовня его – бред горячешного. Чтобы никто не смел эти сказки повторять. Понятно? А этого... – он кивнул на Яря, который теперь смеялся, беззвучно, сотрясаясь всем телом, – как придет в себя – в кандалы и на лесозаготовку. На север. Подальше отсюда. Чтобы духу его здесь не было.

Приказ был выполнен. Яря увели. Его истошный смех еще долго был слышен из-за дверей лечебной избы, пока немец не вколол ему какую-то одурманивающую микстуру.

Но запереть рот всем свидетелям было нельзя. История о том, как самый буйный насмешник сошел с ума за одну ночь, увидев «знак» и, возможно, само подземное царство, облетела слободу со скоростью лесного пожара. Теперь уже не просто шептались. Открыто говорили, что «чудь пробралась в поселок», что она «глазами младенца смотрит», а «устаи безумца говорит». Что они не просто ушли. Они вернулись. В другом виде. И требуют что-то. Или готовят что-то.

Трофиму с семьей стало невыносимо жить. На них показывали пальцами. В их избу боялись заходить. Арина сходила с ума от страха за ребенка и от тоски по своему, настоящему, которого, как она теперь верила, унесли. Сам Потап продолжал лежать в колыбели, тихий, холодный, временами выводящий на стенах свои непонятные послания. Он как будто и не замечал бури, которую вызвало его появление на свет.

Никита Демидов, вернувшись в свою избу, долго сидел в темноте, не зажигая свечи. Он слышал доносящийся из поселка гул встревоженных голосов. Он видел в окно, как люди кучками обсуждают что-то, оглядываясь на его дом. Он понимал, что на этот раз дело не в обычной суеверной чепухе. Что-то произошло. Что-то материальное. Испуганный рабочий – это одно. Безумец, говорящий о «поющем железе» и «маленьких кузнецах» – это уже другое. Это был прорыв. Прорыв того, что он так яростно отрицал, в реальный мир.

Он подошел к тяжелому сундуку, стоявшему в углу. Открыл его. Среди бумаг и образцов руд лежал один из тех серебряных шаров. Не все он отправил царю. Один оставил «для изучения». Он взял его в руку. Холод, как всегда, обжег ладонь. Шар лежал инертно, лишь слабо мерцая в темноте.

«Песня железа...» – пронеслись в голове слова безумного Яря.

Демидов с силой швырнул шар обратно в сундук. Звонкий удар металла о дерево прозвучал в тишине, как выстрел.

– Бред, – сказал он вслух, но в его голосе уже не было прежней уверенности. Было раздражение. Раздражение генерала, чья идеально выстроенная оборона вдруг дала трещину в самом неожиданном месте.

Он подошел к окну, распахнул его. Влажный, туманный воздух ворвался в комнату. Из поселка доносился плач ребенка – обычного, человеческого. И чей-то испуганный крик: «Ой, смотрите! На избе Трофима опять знаки! Целую карту вывел!»

Никита захлопнул окно. Его лицо, освещенное теперь единственной свечой, было похоже на маску из желтого воска. В глазах боролись решимость и тень страха, который он презирал. Страх перед необъяснимым. Перед тем, что не ложилось в графы отчетов и не плавилось в домне.

Подменыш в колыбели углежога стал не просто диковинкой. Он стал символом. Живым доказательством того, что древние легенды – не выдумки. Что они обладают силой врываться в реальность, калечить умы и менять правила игры. И Демидов, хоть и не хотел в это верить, чувствовал, что игнорировать этот вызов больше нельзя.

Тревога, как осенний туман, плотной, непроглядной пеленой окутала Невьянский завод. Она проникла в бараки, в избы, в сердца людей. И где-то в глубине, под тяжелой толщей породы и страха, в светящихся пещерах, которые снились только Степану да теперь, возможно, безумному Ярю, казалось, наступило молчаливое, внимательное ожидание. Первая ласточка их мести – бледный, молчаливый младенец – уже была среди людей. И он только начал свою работу.

Глава 5. Прибытие Акинфия (1706 г.)

Зима 1706 года ударила по Уралу с такой свирепой, беспощадной силой, будто сама природа решила стереть с лица земли дерзкое человеческое поселение. Морозы стояли лютые, за сорок, выворачивающие душу. Снег шел почти непрерывно, тяжелыми, мокрыми хлопьями, заметая дороги, дома, цеха. Ветер, рожденный в сибирских степях, выл в трубах и щелях, норовя потушить огни домен. Мир съежился до размеров раскаленного пятна у горна, до тусклого круга света фонаря в штольне, до стен переполненной, вонючей казармы, где люди спали, прижавшись друг к другу, как щенки, чтобы не замерзнуть.

В эту стужу, сквозь метель, словно порождение самой зимы, в Невьянск и прибыл Акинфий Никитич Демидов. Сын. Наследник. Совершенно иная порода.

Его въезд не был триумфальным. Это было вторжение. Он приехал не на подводе, а в тяжелых, крытых санях, запряженных тройкой взмыленных лошадей, которых гнал лихой ямщик, не боящийся ни бурана, ни чертей. С ним были двое: верный оруженосец, бывший солдат Фома, угрюмый и молчаливый, как скала, и молодой, болезненного вида писец по имени Елисей, с бегающими глазками и вечной записной книжкой в руках. Сам Акинфий выскочил из саней, не дожидаясь, когда откинут полог. Он был высок, строен, с острыми, энергичными чертами лица, унаследованными от отца, но лишенными той грубой, кузнечной основательности. Его глаза – темные, как у Никиты, – горели не упорным внутренним огнем, а ярким, ненасытным любопытством, граничащим с дерзостью. Ему было двадцать четыре года, и он горел желанием вписать свое имя в историю – не как продолжатель дела, а как творец новой, великой империи.

Он не пошел сразу в контору. Он, скинув на Фому соболью шубу, остался в одном кафтане, и первым делом пошел на завод. Не спеша, деловито, как полководец, осматривающий новые владения, он прошел мимо ревуших домен, где полуголые, покрытые копотью и потом люди, похожие на демонов, метались в мареве жара. Он заглянул в кузницу, где молоты обрушивались на раскаленный металл с оглушительным грохотом. Он подошел к самой кромке новой, глубокой шахты, заглянул в черную пасть, откуда тянуло запахом сырости и страха. Он все впитывал. Звуки, запахи, лица. И на его лице не было ни одобрения, ни недовольства. Была холодная, аналитическая оценка.

Никита встретил его в избе. Отец и сын обнялись сухо, по-деловому. За плечами у Никиты – годы нечеловеческого напряжения, седина в бороде, глубокие складки у рта. За плечами у Акинфия – учеба в Москве, общение с иностранными инженерами, интриги при дворе и жгучее нетерпение.

– Ну, как дела, батюшка? – спросил Акинфий, снимая перчатки и бросая их на стол. Его взгляд скользнул по грубым счетам, по картам, висевшим на стене.

– Держимся, – отрезал Никита. – Мороз душит. Люди мрут как мухи. Но плавим. Царю отгрузили третью партию ядер.

– Ядра... – Акинфий произнес это слово с легкой усмешкой. – Это хорошо. Но я читал отчеты. И слышал кое-что по дороге. Слухи.

– Какие слухи? – Никита налил себе квасу, сыну не предложил.

– О шаре серебряном. О древнем карлике в кольчуге. О... подменьше. – Акинфий выдержал паузу, наблюдая за лицом отца. – В Тобольске в канцелярии шептались. Будто на Невьянском заводе не только железо лют, но и с нечистой силой знают.

– Всякий сброд несет что попало, – буркнул Никита, но Акинфий заметил, как напряглись его пальцы, сжимающие кружку.

– Возможно. Но дыма без огня не бывает. Покажи мне, отец, не только домны. Покажи мне это. Места, где нашли. Где копают. Где... случаются чудеса.

Так начался их конфликт. Не открытый, не громкий. Холодный, как уральская зима, и глубокий, как невяньские шахты.

Никита видел в сыне выскочку, недооценивающего титанический труд основания. Для него завод был крепостью, которую он отбил у дикой природы и суеверий. Каждое бревно, каждый кирпич, каждый работник были ценой его здоровья, его воли. Он говорил о дисциплине, о выплавке, о логистике. Он видел угрозу в болезнях, в бунтах, в царских чиновниках. А в «чудесах» видел лишь досадную помеху, сорную траву суеверия, которую надо выжечь каленым железом прагматизма.

Акинфий же смотрел дальше и... глубже. Для него завод был не крепостью, а плацдармом. Точкой опоры, с которой можно перевернуть весь этот край. Его манили не отгруженные ядра, а потенциал. Он слушал рассказы отца о «чудских копиях», о странных находках, о болезнях и видениях – и в его глазах вспыхивал не страх, а азарт. Он видел в этом не чепуху, а информацию. Ключи. Указатели.

Через несколько дней после приезда он потребовал карты. Все, что были. И не только официальные чертежи рудных пластов. Он приказал Елисею, своему писцу, ходить по кабакам, подпаивать старых рабочих, сторожей, даже охотников-манси, и записывать все, что они знают о «особых местах». О горах, где «земля звенит». О пещерах, откуда «дует теплый ветер зимой». О старых, заваленных ходах, про которые говорят, что они «не от людей».

И особо, чаще всего, в этих рассказах всплывало одно название. Азов-гора.

О ней говорили с придыханием и страхом. Говорили, что это не просто гора, а древнее капище, место силы. Что ее вершина плоская, будто срезана гигантским ножом. Что по ночам на ней видны огни – не костры, а блуждающие, холодные огоньки. Что охотники обходят ее стороной, потому что там теряются собаки, а у людей сбивается с пути разум. Говорили, что именно под Азов-горой находятся самые богатые, самые древние копи чуди, откуда они добывали не железо, а «серебро, что светится изнутри». И говорили, что сама гора стережет эти сокровища, и того, кто посмеет их потревожить, она либо убьет, либо сведет с ума.

Для Никиты эти рассказы были еще одним подтверждением дикости края. Для Акинфия – картой с жирной крестиком, на которой написано «КЛАД».

Он засел в конторе, раскинув перед собой все собранные Елисеем записи и смутные, самодельные карты. Он сопоставлял, искал закономерности. И вот что он заметил: все старые

«чудские ямы», все места, где были найдены следы древней добычи, тяготели к определенным возвышенностям, к грядам холмов. И Азов-гора была самой высокой, самой центральной точкой в этой системе. Как пуповина. Как сердце.

– Батюшка, – сказал он однажды за ужином, прерывая молчание, – нам нужно заложить разведочную партию к Азов-горе.

Никита, жевавший грубый хлеб, остановился. Посмотрел на сына поверх чашки.

– Зачем?

– Там могут быть руды, каких мы еще не видели. По всем рассказам – это центр древних работ. Значит, там самое богатое месторождение.

– Там центр болот и сумасшествия, – отрезал Никита. – Дороги нет. Зимой – снега по пояс. Весной – топи. Людей туда не загонишь. Да и не надо. У нас здесь руды на сто лет. Зачем лезть в волчью пасть?

– Чтобы получить не в сто, а в тысячу раз больше! – Акинфий ударил кулаком по столу. Его глаза горели. – Ты же сам говоришь, царь требует все больше! Он строит флот, воюет! Ему нужно не просто железо. Ему нужно лучшее железо. А может, и не только железо. Может, там есть то, что светится – «серебро» из легенд. Представь, батюшка, если мы найдем не просто руду, а новую, неизвестную породу? Мы станем незаменимыми! Нас вознесут выше Строгановых!

– Легенды, – презрительно бросил Никита. – Ты, как малый ребенок, за сказками гоняешься. Дело надо делать, а не ветер ловить.

– Это не ветер! Это след! – Акинфий вскочил. – След целой цивилизации, которая знала о металлах больше нас! Мы можем использовать их знания! Твой Степан, этот полоумный... он же на что-то указывает! Он что-то знает! Его нужно не гнать, а выпрашивать! Допрашивать, если надо!

Услышав имя Степана, Никита помрачнел окончательно.

– Степан – больной человек. У него в голове ветер гуляет. Как по мне он и так делу мешает.

– Мешает тебе. А мне может помочь. Я с ним поговорю.

И Акинфий пошел. Не на завод, не в шахту. Он пошел на самый край слободы, к покосившейся баньке, где ютился Рудознатец. Фома, его тень, шел сзади, держа руку на эфесе шпаги.

Акинфий постучал. Дверь открылась не сразу. Пахнуло сыростью, дымом и чем-то еще – горьким, травяным. Степан стоял на пороге. Он выглядел еще хуже, чем год назад. Он осунулся, глаза глубоко провалились, а левая рука, замотанная в грязные тряпки, была прижата к груди. Но в его взгляде, встретившемся со взглядом Акинфия, не было ни страха, ни подострастия. Была та же отрешенная, древняя печаль.

– Ты Степан? Рудознавец?

Тот кивнул.

– Я Акинфий Демидов. Сын. Хочу поговорить о горах. Об Азов-горе.

Степан молча отступил, пропуская его внутрь. Банька была пуста, кроме охапки сена в углу, кострища на земляном полу и нескольких странных предметов на полке: камни необычной формы, ветки, скрученные в узлы, чаша с темной жидкостью.

Акинфий, не смущаясь, сел на чурбак. Фома остался у двери.

– Расскажи, что ты знаешь об Азов-горе. Все.

Степан долго молчал, глядя на тлеющие угли. Потом начал говорить. Голос его был монотонным, как будто он читал по памяти древний текст.

– Гора-страж. Гора-сердце. Под ней не руда лежит. Под ней... сон. Долгий сон тех, кто был раньше. Они ушли туда, когда пришли шумные люди. Запечатали ходы. Но печать... не железная. Она из тишины и памяти. Кто нарушит тишину – разбудит память. А память может быть... тяжелой.

– Что значит «память может быть тяжелой»? – пристально смотрел на него Акинфий.

– Земля помнит все. Каждый удар кирки. Каждый вздох в темноте. Каждую слезу. И когда памяти становится слишком много... она ищет выхода. Иногда – родником. Иногда – обвалом. А иногда... через тех, кто чувствует. Через детей. Через безумцев. Через тех, у кого душа тонка, как паутина. – Степан посмотрел на свою замотанную руку. – Азов-гора – место, где память земли лежит толще всего. Как годовые кольца у дерева. Тысячи лет. Десятки тысяч. Там копали. Там пели. Там... хоронили.

– Хоронили что? Сокровища? – не удержался Акинфий.

Степан медленно покачал головой, и в его глазах мелькнуло что-то вроде жалости.

– Не сокровища. Знания. Огни, что горели без дров. Воды, что лечили раны. Камни, что говорили. Они это похоронили, когда уходили. Чтобы не досталось таким, как мы. Потому что мы... сломаем. Не пойдем. Используем во зло.

– Кто сказал, что мы сломаем? – Акинфий наклонился вперед. Его голос зазвучал убедительно, горячо. – Может, мы как раз те, кто сможет это понять? Мы – новые. У нас есть науки. Инженеры. Мы можем разгадать их секреты! Мы можем не просто взять, а продолжить! Сделать то, о чем они и мечтать не могли!

Это была ересь. Кошмарная, богохульная мысль – не бояться древних, а учиться у них. Не отступать перед их проклятиями, а овладевать их могуществом.

Степан смотрел на него долго и пристально. Потом встал, подошел к полке, взял один из камней – темный, с прожилками, похожими на застывшие молнии. Протянул его Акинфию.

– Возьми.

Акинфий взял. Камень был неожиданно тяжелым и... теплым. Не от печки. Изнутри.

– Что это?

– Кусок горы. Не Азовской. Другой. Он помнит огонь. Глубинный огонь. Тот, что плавит не железо, а душу. – Степан отвернулся. – Уходи, молодой Демидов. Ты не понимаешь, в какую игру играешь. Твой отец боится и потому осторожен. Ты не боишься. И это страшнее. Ты разбудишь то, что усыпить снова будет нельзя. И первым, кого оно сожрет, будешь ты.

Акинфий вышел из баньки с камнем в руке. Камень продолжал излучать слабое, почти неощутимое тепло. Слова Степана не испугали его. Они взволновали. Они подтвердили его догадки. Здесь, в этой глуши, действительно было нечто большее, чем железо. Была сила. Древняя, непонятая, но сила. И он, Акинфий, чувствовал себя тем человеком, который сможет ее обуздать.

Он вернулся к отцу с новыми аргументами. С «показаниями» Степана, которые он, естественно, истолковал по-своему.

– Он подтверждает! Там действительно что-то есть! Не просто сказки! Знания! Технологии!

– Он подтверждает, что там опасно! – кричал в ответ Никита. Их ссора в тот день была первой по-настоящему громкой. – Ты слышишь себя? «Технологии»! «Сила»! Ты как тот алхимик, что ищет философский камень! Дело, Акинфий! Надо делать дело, а не гоняться за призраками!

– Дело, которое ты делаешь, убого! – парировал Акинфий, его лицо исказила презрительная усмешка. – Ты копаешь там, где легко. Где уже все выкопано до нас этими... карликами! Надо идти туда, куда они не пускают! Где они спрятали самое ценное! И я пойду. С тобой или без тебя.

Это была прямая угроза неповиновения. Никита видел в сыне свое продолжение, свою кровь, свою волю. Но он видел и другое – безрассудство, граничащее с безумием, ту «тонкость души», о которой говорил Степан, но обращенную не к мистике, а к жадности.

В конце концов, Никита, стиснув зубы, пошел на уступки. Не потому, что поверил. А потому, что понял – Акинфия не удержать. Лучше пусть действует под присмотром.

– Хорошо. Весной. Когда сойдет снег. Соберешь небольшую партию. Десять человек. На разведку. Только на разведку. Без копания, без взрывов. Посмотреть, оценить. И все. И Степана с собой не брать. Он там с ума окончательно сойдет.

Акинфий согласился. Внешне. Но в душе он уже строил другие планы. Он не собирался ждать весны. И не собирался брать десять человек. Он решил пойти сам. С Фомой. Сейчас. Пока отец занят заводами, пока все замерзло и можно пройти по льду болот.

Его одержимость Азов-горой стала наваждением. По ночам он изучал карты, водил пальцем по схематичным рисункам, которые Елисей рисовал со слов стариков. Он расспрашивал всех, кто хоть что-то слышал. Он узнал, что у подножия горы есть «Говорящий камень» – огромный валун, на котором, по преданию, чуди оставляли послания. Что на самой вершине, на плоской площадке, иногда находят странные, оплавленные куски кварца, будто от гигантского жара. Что из расщелин у основания зимой идет пар, и вокруг них не ложится снег.

Для него это были не страшилки. Это были технические характеристики. Аномалии, указывающие на активность в недрах. На тепло. Возможно, на выход рудных газов. Или на что-то еще.

Через неделю после ссоры с отцом, в ясную, морозную ночь, когда луна висела над лесом огромным ледяным диском, Акинфий и Фома, снаряженные как на долгую охоту, украдкой выскользнули из слободы и двинулись на северо-восток, туда, где темным зубцом на фоне звездного неба высилась силуэтом Азов-гора.

Акинфий шел впереди, его дыхание клубилось белым паром. Он не чувствовал холода. Он горел изнутри. Он был на пороге открытия. Он был уверен, что сейчас, вот в эту самую ночь, он найдет то, что сделает его имя бессмертным. Он сжимал в руке теплый камень, подаренный Степаном. Он был его талисманом. Его проводником.

Он не знал, что в это самое время Степан, стоявший на пороге своей баньки и смотревший в ту же сторону, на ту же луну над той же горой, тихо шептал, обращаясь не к нему, а к темным силуэтам леса и к самой горе:

«Идет... Новый... Слухом не обременен. Сердцем пуст. Глаза горят чужим огнем. Прими его, гора. Покажи ему. Что захочешь. Только... пощади других. Пощади тех, кто просто боится и работает. Он один идет на встречу. Он один и ответит».

И ветер, подхватив этот шепот, понес его к черному, молчаливому силуэту Азов-горы, которая, казалось, в эту лунную ночь стала еще выше, еще мрачней, еще более бдительной.

Конфликт был задан. Старая осторожность и новая, слепая дерзость сошлись в непримиримом противостоянии. И гора, хранящая свои тайны, ждала того, кто осмелится постучаться в ее древние, запечатанные врата.

Глава 6. Говорящая гора (1707 г.)

Апрель 1707 года на Урале был временем предательства. Земля, казалось, не могла решить, принадлежит ли она еще зиме или уже весне. Днем под робким солнцем чернели проталины, с крыш звонко капало, а дороги превращались в реки липкой, бурой грязи. Ночью же мороз возвращался со свирепой силой, сковывая все железной хваткой, покрывая мир хрустящим, злым настом. Лес стоял мокрый и голый, обнажая скрюченные, темные ветви, похожие на скелеты гигантских существ. Воздух был насыщен запахом гниющего прошлогоднего листа, талой воды и далекого, едкого дыма заводских труб.

Именно в это время неустойчивого равновесия, когда природа была на распутье, Акинфий Демидов привел свой приговор в исполнение.

Он ждал не всю зиму. Он ждал до тех пор, пока не убедился, что отец с головой погрузился в проблемы весенней распутицы: ремонт плотины, подвоз угля, бесконечные споры с поставщиками. Как только внимание Никиты отвлеклось, Акинфий начал действовать.

Он собрал не десять человек, как договаривались с отцом, а пятерых. Но каких! Это были не обычные рабочие. Это были отбросы невьянской слободы, люди без роду и племени, готовые на все за двойную пайку и обещание доли в «несметных находках». Бывший каторжник Левка, силач с лицом, изуродованным оспой и ножом. Двое братьев-беглых, Сашка и Прошка, молчаливые и дикие, как лесные волки. Старый солдат Артемич, прошедший к тому времени три войны и спившийся в чине, но еще крепкий и беспринципный. И, конечно, верный Фома, тень и меч Акинфия. Сам Акинфий шел во главе этого маленького, жутковатого отряда, одетый в прочный дорожный кафтан, с дорогим кремниевым пистолетом за поясом и подаренным Степаном теплым камнем в кармане.

Они вышли на рассвете, когда слобода еще спала, утопая в предрассветном тумане и хриплом храпе. Шли быстро, почти бесшумно, обходя грязные улицы, углубляясь в лес по едва заметной звериной тропе, которую Акинфий высмотрел и запомнил еще зимой. За спинами у них оставался гул завода, который постепенно растворился в шелесте мокрых ветвей и хрусте подтаявшего наста.

Дорога к Азов-горе была не просто трудной. Она была враждебной. Казалось, сам лес сопротивлялся им. Колючие ветви хлестали по лицам, корни норовили подставить подножку, непролазные завалы бурелома заставляли делать долгие обходы. Грязь засасывала сапоги выше колен. Но Акинфий не сбавлял темпа. Его глаза горели фанатичной решимостью. Он шел, сверяясь с самодельной картой и компасом, который выписал из Москвы. Он почти не разговаривал с людьми, лишь отдавал короткие, четкие команды. Он был не начальником экспедиции, а ее духом.

К вечеру первого дня они вышли к подножию.

Азов-гора вблизи была еще внушительней, чем вдали. Это был не пологий холм, а мощный, мрачный скальный массив, поросший у основания чахлым, кривым лесом. Вершина ее и вправду казалась срезанной, образуя неестественно ровную площадку, будто гигантский стол. От самой горы веяло холодом, не апрельским, а глубинным, вечным. Воздух здесь был

чище, тише, но в этой тишине чувствовалось напряжение, будто они вошли в святилище, где нельзя шуметь.

– Вот он, Говорящий камень, – хрипло произнес Артемич, указывая на огромный, поросший лишайником валун у самого края леса. Камень был размером с избу, и на его поверхности, если приглядеться, угадывались выветренные, сглаженные веками углубления, похожие на какие-то знаки.

Акинфий подошел, провел рукой по шершавой поверхности. Камень был ледяным.

– Разбиваем лагерь здесь, – приказал он. – Недалеко от воды. – Он кивнул на шум ручья, стекавшего с горы. Вода в нем была необычно прозрачной и холодной, с легким металлическим привкусом.

Левка и братья молча принялись рубить хворост для костра, расчищать площадку. Фома, недоверчиво оглядывая темнеющие склоны, встал на стражу. Артемич, достав из котомки чарку и маленький бочонок со спиртом, присел на корточки, наблюдая за Акинфием.

Тот не сидел на месте. Он ходил вокруг Говорящего камня, изучал подножье горы, искал следы – любые следы – древней деятельности. И нашел. Неподалеку, под слоем хвои и прошлогодней листвы, он наткнулся на полузасыпанный вход в расщелину. Он был узким, человеку пройти можно было только боком, но явно искусственного происхождения – края были подтесаны. Из расщелины тянуло тем же холодом и слабым, едва уловимым запахом... озона и влажного камня.

Сердце Акинфия забило чаще. Вот оно. Дверь.

Он вернулся к костру, где уже кипел котелок с похлебкой. Люди ели молча, поглядывая на темный силуэт горы, которая теперь, в сумерках, казалась исполинским стражем, нависшим над их жалким лагерем. Даже братья-волки, обычно такие бесстрашные, притихли.

– Завтра, – сказал Акинфий, ломая хлеб, – пойдем внутрь. В эту расщелину. Будем исследовать.

– А если завалено? – пробурчал Левка.

– Разберем. Если нужно – взорвем. Порох есть.

– Мне не нравится это место, – неожиданно сказал Артемич, отпивая из чарки. Его голос был глух, но тверд. – Тишина здесь мертвая. И вода... металлом отдает. Как кровь.

– Ты боишься? – холодно спросил Акинфий.

– Я много чего боюсь, молодой барин. Войны, голода, начальства. Но это... это другое. Это как перед боем, когда знаешь, что не выйдешь живым. Земля здесь не держит. Воздух не греет.

– Суеверия, – отмахнулся Акинфий, но в его голосе не было прежней уверенности. Он и сам чувствовал эту гнетущую атмосферу. Но для него это было не предупреждением, а вызовом. Доказательством того, что они близки к чему-то важному.

Ночь опустилась стремительно и абсолютно. Лесной мрак, не рассеянный ни одним огоньком человеческого жилья, был густым, как смола. Звезды над плоской вершиной горы сияли ледяными, колючими точками. Костер, за которым сидели люди, был крошечным островком тепла и света в этом безбрежном море тьмы. Люди жались к огню, кутаясь в тулупы. Разговаривали шепотом, будто боялись, что их услышат.

И тогда они услышали Это.

Сначала это был едва различимый звук. Как далекий, высокий звон. Казалось, он идет не с горы и не из леса, а из-под земли, прямо у них под ногами. Все замерли, прислушиваясь.

Звон усиливался. Он не был монотонным. Он был мелодичным. Сложным. Словно кто-то невидимый, обладающий нечеловеческим слухом и чувством гармонии, играл на десятках, на сотнях тончайших, серебряных струн, натянутых в толще породы. Это была музыка, но музыка чужая, неземная. В ней не было человеческих эмоций – ни радости, ни печали. Была лишь чистая, холодная, математическая красота. И невероятная, гипнотическая сила.

Она входила в уши, в мозг, вибрировала в костях. Она заглушала треск костра, шум ручья, даже собственное дыхание. Люди сидели, замороженные, уставившись в пламя, но их взгляды были пусты, обращены внутрь, на тот звуковой пейзаж, что разворачивался в их сознании.

Акинфий, сжав кулаки, пытался сопротивляться. Он чувствовал, как разум его пытаются увести, усыпить, растворить в этой мелодии. Он укусил себя за губу до крови – резкая боль ненадолго вернула ему ясность. Он увидел лица своих людей. Левка сидел с глупой, блаженной улыбкой, покачиваясь в такт несуществующему ритму. Братья обнялись, их глаза были закрыты, на щеках – слезы, но не от горя, а от непонятого, всепоглощающего восторга. Даже суровый Фома сидел расслабленно, его рука бессильно лежала на эфесе шпаги.

И только Артемич, старый солдат, казалось, боролся. Его лицо было искажено гримасой ужаса. Он что-то шептал, зажимая уши ладонями, но звук проходил сквозь пальцы, сквозь кости черепа.

– Не слушайте! – попытался крикнуть Акинфий, но его голос прозвучал тихо, жалко, потерявшись в могучей симфонии горы.

И тогда Артемич встал. Медленно, как лунатик. Его движения были плавными, неестественными. Он оторвал взгляд от костра и устремил его в темноту леса, в сторону, откуда, казалось, исходил самый чистый, самый высокий звук.

– Артемич! – рявкнул Акинфий, вскакивая.

Но солдат не услышал. Он сделал шаг от костра, потом другой. И пошел. Не оглядываясь, не спотыкаясь, уверенно, будто его звали по имени. Он шагнул за круг света от огня и растворился в черноте.

– Фома! Левка! За ним! – заорал Акинфий, трясая за плечи молотобойца. Тот лишь бессмысленно улыбался.

Звон начал стихать так же постепенно, как и нарастал. Словно невидимый музыкант, закончив произведение, отложил инструмент. Внезапно наступившая тишина была оглушительной. Она давила на уши, на сознание.

Люди начали приходить в себя, моргая, оглядываясь с выражением растерянности и стыда, как после тяжелого опьянения.

– Что... что это было? – прошептал Прошка, потирая виски.

– Где Артемич? – спросил его брат.

Акинфий, уже схвативший фонарь, бросился в лес по следам солдата. За ним, спотыкаясь и крестясь, побежали остальные, кроме Фомы, который остался караулить лагерь.

Следы были отчетливыми на подтаявшем насте. Они вели не в глубь леса, а вдоль подножия, к крутому, скалистому обрыву. Акинфий бежал, сердце колотилось где-то в горле. Не от страха за Артемича. От предчувствия. От понимания, что сейчас он увидит нечто, что перевернет все его представления.

Он увидел.

На небольшой поляне перед отвесной скалой, покрытой темными пятнами лишайников, стоял Артемич. Он стоял неподвижно, спиной к ним, лицом к каменной стене. Его поза была неестественно прямой, руки висели вдоль тела.

– Артемич! – крикнул Акинфий, подбегая.

Тот не обернулся. Не шелохнулся.

Акинфий подошел вплотную, заглянул ему в лицо. И отшатнулся с подавленным стоном.

Глаз у Артемича не было. На их месте зияли две темные, влажные впадины. Крови было мало, лишь несколько черных струек засохло на щеках. Лицо его не выражало ни боли, ни ужаса. Оно было пустым, спокойным, почти умиротворенным. Его веки были опущены, будто он спал с открытыми когда-то глазами.

Левка ахнул. Братья замерли, крепко сцепившись руками.

Акинфий стоял, не в силах отвести взгляд от этих черных дыр. Его ум, всегда такой быстрый и расчетливый, отказывался понимать. Это не было нападением зверя. Это не было несчастным случаем. Это было... ритуально. Целенаправленно.

И тогда губы Артемича шевельнулись. Из них вырвался хриплый, едва слышный шепот, будто говорил не он, а кто-то другой, используя его гортань.

– Она... сказала... что мы... шумные...

Шепот оборвался. Артемич медленно, как подкошенный, осел на землю. Он был еще жив. Его грудь слабо вздымалась. Но он был пустой оболочкой. Лишенный глаз, лишенный, казалось, и души.

Акинфий медленно обернулся и посмотрел на скалу, к которой стоял лицом Артемич. В свете фонаря он разглядел, что это не просто каменная стена. На ней, глубоко врезанные в породу, виднелись те же угловатые, спиральные знаки, что он видел на стенах чудской галереи и в доме углежога Трофима. Знаки здесь были крупнее, древнее. И они, ему показалось, все еще вибрировали, будто в них только что отзвучала ледяная мелодия.

В его голове, потрясенной до основания, что-то щелкнуло. Это была не магия. Это было не проклятие. Это была коммуникация. Гора, земля, древняя раса – что бы это ни было – говорило. И говорило на своем, непонятном языке. А когда ее не понимали, когда нарушали ее тишину, она... забирала инструмент, которым человек воспринимал мир. Зрение. Она забирала его, чтобы больше не видеть непрошенных гостей. Или чтобы гости, лишенные зрения, стали частью темноты, которой она владела.

Ужас, холодный и рациональный, впервые по-настоящему проник в Акинфия. Но не страх смерти. Страх бессилия. Страх столкнуться с силой, которую нельзя купить, нельзя подчинить приказом, нельзя взорвать порохом.

Он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Поднял голову и посмотрел на темную громаду Азов-горы, на ее плоскую, безразличную вершину, черневшую на фоне звезд.

И тогда ужас в его душе переплавился. Переплавился в ярость. В бешеную, всепоглощающую обиду. Его, Акинфия Демидова, сына тульского мастера, наследника уральской империи, посмели... наказать? Как малого ребенка? Отобрать у него человека? Испугать призрачной музыкой?

Нет. Так не будет.

Он подошел к скале, к этим мерцающим знакам. Он вынул из кармана тот самый теплый камень Степана, сжал его в руке, чувствуя его неестественное тепло. И он заговорил. Тихо, но с такой концентрированной ненавистью и решимостью, что даже братья-волки отшатнулись.

– Хорошо, – прошипел он, глядя в камень, будто обращаясь к самой горе. – Ты говоришь. Ты поешь. Ты отбираешь глаза у тех, кто тебя не слышит. Ты думаешь, что ты сильнее. Что ты древняя. Что ты мудрая.

Он сделал паузу, и его голос зазвучал громче, заполнив поляну, ударив в скалу.

– Но я научусь твоему языку. Я не буду слушать твою музыку. Я вырву у тебя глотку. Я разорву твои жилы и высушу твои колокола. Я залью твои пещеры не водой, а расплавленным железом. И ты замолчишь. Навсегда. Ты отдашь мне все, что спрятала. Все свои серебряные сны, все свои светящиеся кошмары. Ты будешь рычать под моими домами и стонать под моими взрывами. Но петь – никогда.

Он швырнул теплый камень в знаки на скале. Камень ударился со звонким, сухим звуком и отскочил, не оставив и царапины.

Акинфий обернулся к своим людям. Его лицо в свете фонаря было похоже на лик древнего мстительного духа. Ни страха, ни сомнений. Только холодная, беспощадная решимость.

– Тащите его, – кивнул он на Артемича. – Вернемся в лагерь. А на рассвете – в расщелину. Мы идем внутрь. И мы возьмем то, за чем пришли. А если эта гора посмеет нам снова заговорить... мы ответим ей на языке, который она поймет. На языке огня и железа.

Он не смотрел больше на скалу с выжженными глазами Артемича. Он повернулся и твердыми шагами пошел назад, к крошечному огоньку их лагеря. За его спиной темная громада Азов-горы молчала. Но в этой тишине теперь чувствовалось не предостережение, а принятый вызов. Игла вонзилась в плоть земли. Теперь оставалось только рвать. Или быть разорванным.

Глава 7. Шаман (1708 г.)

Лето 1708 года выдалось на Урале душным и тихим, но не тишиной покоя, а тишиной затаившегося зверя. После истории на Азов-горе, после возвращения Акинфия с его обезумевшим, слепым солдатом и повестью о «говорящей горе», что-то в самом воздухе Невьянска изменилось. Страх, который раньше был смутным, рассеянным, теперь сконцентрировался, обрел направленность. Он был обращен не просто в темноту леса или в черные пасти шахт. Он был обращен к конкретной точке на карте – к горе на северо-востоке. И к человеку, который бросил ей вызов.

Артемича не стало через неделю после возвращения. Он не умер от ран – глазницы затянулись странно быстро, почти без нагноения, тонкой, блестящей пленкой, похожей на слюду. Он умер от того, что перестал есть, пить, реагировать. Он просто лежал, глядя в потолок пустыми глазницами, и его дыхание становилось все тише, пока однажды утром не остановилось вовсе. Говорили, что в последнюю ночь он вдруг сел на своих нарах и заговорил чистым, без акцента, голосом, которого у него никогда не было: «Вода в ручье не спрашивает камни, можно ли течь. Она просто течет. А вы – не вода. Вы – жернова. Вы перемальваете камни и удивляетесь, что вода стала мутной». После чего лег и умер. Эти слова передавались из уст в уста, обрастая новыми толкованиями, но суть была ясна: это было послание. От горы. Через мертвого.

Акинфий после той экспедиции замкнулся. Но не от страха. От сосредоточенности. Он почти не выходил из своей комнаты в отцовской избе, превращенной в кабинет. Стены ее теперь были увешаны не только заводскими чертежами, но и контурными картами окрестностей, на которые он наносил странные символы, почерпнутые из рассказов Степана и из тех знаков, что видел на скале и в доме углежога. Он изучал минералы, привезенные с разных рудников, сравнивал их, пытался найти закономерность. Он требовал у отца самых опытных литейщиков, ставил с ними тайные опыты по сплавам, используя в качестве флюса крошечные осколки серебряных шаров. Отец, видя эту одержимость, хмурился, но не запрещал. Он видел в сыне ту же неукротимую энергию, что двигала им самим в молодости. Но энергию, направленную в странное, опасное русло.

А на заводе и в слободке творилось неладное. Волна суеверного ужаса после случая с Артемичем накрыла людей с новой силой. Рабочие отказывались идти в самые глубокие, самые «старые» шахты. Участились обвалы – мелкие, но деморализующие. Вспыхнула эпидемия «каменного кашля», косившая людей десятками. Дети в поселке, глядя на вечно молчащего «подменыша» Потапа, начали замыкаться в себе, бояться темноты, рассказывать о странных снах, где «маленькие люди зовут играть в подземные города».

Никита Демидов, грузный и поседевший за эти годы, чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Его железная дисциплина, его прагматичные приказы перестали действовать. Можно заставить человека работать под угрозой кнута, но нельзя заставить его не бояться. А страх – худший из рабочих. Он медленный, заразный и смертельный.

Именно тогда, в один из душных августовских вечеров, когда солнце садилось в кроваво-багровую дымку заводских выбросов, к нему пришел Степан. Рудознатец выглядел еще более изможденным. Его левая рука, всегда замотанная, теперь была скрючена и прижата к груди, будто срослась с телом. Глаза горели лихорадочным блеском в глубоких впадинах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.